

Ю.Иванов

Черная дыра



Юрий Валерьевич Иванов

Черная дыра (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=599515

Аннотация

«Сборник «Черная дыра» – это совокупность рассказов, в которых мне хотелось рассказать о человеке и его душе. В какой-то степени это психологические исследования, зарисовки каких-то сложных и не очень ситуаций, мучений и раздумий, обрывки памяти. Люди, пожалуй, самые интересные создания этого мира. Человек ведь может все, но он же может вдруг это «все» бросить и легко шагнуть за черту. И это не слабость, просто он принимает такое решение. Принятие самостоятельных решений - это наша человеческая фишка. Правильные они или нет – это совершенно не важно, главное – их принять. Они наполняют нашу жизнь смыслом».

Содержание

Рассказы	4
Последний живой	4
Конь	7
Иванов день	10
Мешок	13
Дуськин баран	16
Мася моя	18
Жопик (шоферская байка)	23
Регистратор	27
Стокгольмский синдром	30
Фас!	38
Девяносто пятый год	41
Зигзаг	43
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Юрий Иванов

Черная дыра (сборник)

Рассказы

Последний живой

Тусклая лампочка в правом рожке старенькой люстры моргнула. Откуда-то извне, из бескрайней мути черного вечера за окном донесся низкий гул – на ферме включили дойку. Испуганная слабым звуком жизни, смертная тишина пустого дома немедленно спряталась в холодную нетопленную печь. Выглядывая оттуда украдкой в передний с божничкой угол, она стала ждать своего часа, когда никто и ничто не сможет более помешать ее воцарению в этой комнате.

На стареньком, ободранном когда-то кошками диване лежал старик. Морщинистое лицо с длинным носом и острыми скулами было спокойно и безмятежно. Глаза прикрыты, а руки смиренно сложены на груди.

Черной зимней мухе, сонно ползающей по выцветшим обоям, казалось, что старик уже умер и скоро наступит ее время. Время плодиться, время жить. Но она была уже старой, и жить ей не очень-то хотелось, как не хотелось жить лежащему на диване человеку. Здесь уже никому не хотелось жить.

– Черт знает что, – думал дед, – жизнь прошла. Прошла вся – ничего не осталось. Восемьдесят лет! Ё же ты мое!

Он шумно вздохнул. Озябшая муха испуганно шевельнула крыльями. Искося, глядя на старика, она немного отползла вверх, но решила не улетать. Зачем? Давно уже он не гонял мух своей черной резинкой, оттягивая ее на всю длину и метко стреляя по насекомым. При каждом удачном попадании дед мстительно шипел: «Зас-сранцы!» и острым оком оглядывал стены в поисках новой жертвы. Да, давно это было...

Воспоминания медленно скрипели в голове. Извечный круг – детство, женитьба, дети, война, выживание после, внуки, потери, одиночество.

Он вдруг поймал себя на мысли, что никогда не плакал. Жизнь его была страшной и прошла в страшное время. Но... не плакал. Почему?

Даже на похоронах любимой дочери ему не удалось выдавить из себя слезы, и даже тогда, когда сжимал в руках холодеющую ладонь своей жены, с которой прожил почти шестьдесят лет, – не прорвало. Надо же, никогда!

– Я ж не деревянный, чай? Смеялся, шутил, девок в молодости шупал. Парень был – хоть куда. Пиджак всегда моденный, сапоги хромовые... Эх, ма! Веселиться не боялся, рисковать, любить... Куражистый был... А вот не заплакал ни разу.

Он не знал – радоваться этому или горевать. Тихо пожал плечами и чуть отвернулся к стене.

– Стой, врешь! – память вдруг рванула серую пелену, и в этот разрыв грязной рогожи он отчетливо увидел себя на снегу – плачущим, орущим что-то в серое небо и царапающим ногтями мерзлую землю. Где это я?

Война. Она, сука... Опять пришла, когда ее никто не звал. Ненавижу! Не хочу помнить...

– Почему я тогда заплакал? – старик нервно заворочался.

Память приходила клочками, толкаясь в склеротичных сосудах остывающего тела.

Окопы – вонь испражнений и разложения, угарная духота блиндажей, черная гарь, стелющаяся понизу, стылая жижа на дне. Песок на зубах и бурая кровь на снегу.

Ох, не хочу я это вспоминать!

Третий батальон. Его мозжат в кашу немецкие орудия. Безжалостно долбят по головам. Утюжат плацдарм «штуки», вколачивая бомбы в мерзлую землю. Осколки сыплются в окопы, словно семечки из сита. Цвиркают птичками, и не поймешь – откуда и куда они летят. Такое ощущение, что прилетают минут через пять после взрыва.

Или я уже оглох? Отупел? Или мы все уже отупели...

Батальон сидит здесь уже трое суток. Заняли немецкие окопы и развернули оборону наоборот. А гнезда вырыть в обратную сторону не успели. Фрицы опомнились и в атаку – отбили. Потом самолеты. Снова атака. Теперь орудия и минометы. Убитых не хоронили, тут же в окопах и лежали, присыпанные земелькой и снегом. Так по ним и ходили...

Ночью немцы орут: «сдавайся, русский, иди кушать!» – «Синий платочек» крутят, падлы. А мы голодные-ые! Спасу нет!

Вот, сука, память. Вспомнил – и, действительно, есть захотелось... Пойти на кухню? А чего там на кухне-то? Как Лиза померла, так и затихла там жизнь, даже тараканов меньше стало. Суп из пакетов да хлеб – вся еда. Дочки понавозят всего – собакам отношу, протухает – нет аппетита. Ничего не хочу и не жру сутками.

А сейчас жрать-то как охота!

Пацан – связист, Лешка, смешной такой, – монашком все звали. Дохлак, всегда шея тощая замотана, губы вечно синие. Гляжу, волочет тяжеленную катушку провода по замерзшему пруду за окопами. Путается в полах околевшей шинели, падает и снова встает. А осколки с пулями – цвирк, да цвирк вокруг...

Эх, думаю, кирдык сейчас будет монашку.

Черт меня дернул, что ли? Выскочил из окопа – и к нему.

Опоздал. Пацан в снег ткнулся. Нехорошо так ткнулся – мордой. Точно пулю словил.

– Лежать, дурень! – хриплю ему, – ты что, сучонок, жить расхотел, что ли? Ползи, дурак!

А он глянул на меня – глаза гру-устные такие, глубокие, как колодцы.

– Дядя Миша, дядя Миша, – сипит, лепечет, – я провод от переправы притащил. Связь будет!

Дурак, блаженный! Какая связь, хана нам всем!

А Лешка дрожит весь.

И смотрю я – не пули, не смерти он испугался – меня. У меня лицо злое, черное... Ненависть в нем да страх. А он – словно ангел, мать его! Светится. Чтоб я сдох, светится! И вот смотрит он на меня и сияет, блаженный. Потом вдруг по лицу мне так ладонью провел, улыбнулся и помер.

Ташу его к окопу и ору. Плохо так мне. И ору я: «Господи, же бога твою душу мать! Да что ж ты, сволочь, делаешь-то? Да пропади же ты пропадом!!!»

В небо ору. Серое-серое такое, словно плита бетонная. Нехорошо я кричал в это небо, ой, нехорошо...

Скатил парня в окоп и заплакал. Не пойму сам – зарыдал навзрыд. Наши сошлись – молчат как рыбы. Встали рядом – грязные, худые, израненные – и молчат. Никто не засмеялся, никто даже слова не проронил. Стояли, как идола. Слово мертвецов кто-то в землю вколотил.

Чего я тогда орал-то? Не помню. Только, через час, прибыло подкрепление, и нас с передка отвели в тыл. От батальона, помню, семьдесят шесть человек оставалось. Монашек этот последним погибшим был.

А может, он страдания наши своей жизнью искупил? Может, это Христос приходил к нам в его обличье?

Черт знает что! Какой Христос? Нет никакого Христа, и не было.

Помирать пора. Жизни-то уже больше не будет. Да и чего в ней? Один, без жены, дети уже, вроде, за имущество и дом тихо грызться начинают. Не дождутся, когда помру. Надоел я всем...

Чего жил? Зачем? Тепло хоть кому-нибудь стало от меня? Попил, погулял по свету. Лизку-то мою, бывало, и побью... По пьяни, сдуру. Да и изменял ей, чего там. Как огурцы продавать уеду – гуляю по Архангельску напропалую. Половину денег просаживал, было дело.

Ох, прости меня, жена моя ненаглядная. Плохо мне без тебя, плохо одному. Зачем ушла – оставила вдоветь да мучиться? Неправильно это – мужик завсегда первым должен помирать. Бабы же – они ведь двужильные, терпеливые. Вдовья доля им привычна. Сироты мы без них...

Все у меня не как у людей – двенадцать лет назад дочь потерял. Сорок лет – и сгорела Галька от рака. Такая баба была! Загляденье. Ну, не правильно это – детей хоронить! Не по-Божески...

Опять этот Бог. Нету тебя, чего лезешь в голову мою? Нету! Отстань и не гляди ты на меня так!

Не виноват я... Как смог, так и прожил. А ты где был, когда я после аварии в пятьдесят четвертом переломался так, что рука засохла?! Гальку зачем оставил? Когда горбатился в колхозе за пустодни, куда ты смотрел? А голодали когда, что ж ты горбушечку нам не поднес, а? Да, пошел ты!

Лешка? И ты тут?

Не смотри на меня, Лешка. Лучше прости. Я не смог тогда тебя спасти. Тебя никто бы не смог спасти. Ты сам на смерть пошел, чтобы последним стать... Почему я тогда не погиб вместо тебя? И зачем мне жизнь моя такая?

Нет, если бы погиб я, то последним бы не был... У каждого свой черед и свой крест. Не мне на том кресте висеть, а Лешке-монашку. И в рай не мне – ему.

Почему же я заплакал-то тогда?

Господи, опять ты, что ли? Забирай, я готов. Все...

* * *

Как только за деревней, на ферме, закончили дойку, притаившаяся во тьме печи мертвая тишина тихонько выкатилась в комнату. Все также тускло светила лампочка. Тикал на шкапе старинный железный будильник «Ереван» и шуршали на кухне тощие тараканы.

Черная зимняя муха медленно расхаживала по лицу старика, словно сомневаясь в чем-то и не понимая, что ей теперь делать. Но старик не шевелился, и тишина поняла, что ее больше некому тревожить в этом доме.

Ушел последний живой. Дом опустел, и безмолвие облегченно вздохнуло.

Конь

Конь Рыжик был седым, хромым и старым. Таким старым, что, глядя на него, плохо верилось, что этот костлявый большеголовый урод с бельмом на глазу вообще может самостоятельно передвигаться.

Однако коня почти каждое утро впрягали в телегу с обитым кровельным железом ящиком и заставляли тащить ее семь километров на пекарню за свежим хлебом.

Времена те были простые, советские. О правах домашних животных люди и слыхом не слыхивали. Рыжик же вообще был почти глухим, иного мира, кроме колхоза «Малиновки», не видел, и никакой такой несправедливости в скотском к себе отношении не находил.

Дело свое он знал туго, дорогу помнил до каждой выбоины и вполне мог обходиться даже без кучера.

Возницей хлебной телеги был старичок Андрей Иванович, человек сильно пьющий и потому весьма ненадежный. Иногда, когда дед был с сильного похмелья, процессом доставки хлеба старый конь руководил самостоятельно. Иванович дрых в сенном передке, а Рыжик приходил к пекарне, покорно ожидал своей очереди, а затем подвозил телегу точно к окошку раздатки. Хлеб нагружали, а накладную, поставив где надо крестик, раздатчица бабка Люба засовывала бывшему гармонисту и любимцу всех послевоенных вдов прямо за пазуху. Потом давала коню кусок посоленного хлеба, хлопала по крупу и отправляла, перекрестив, домой. Дедок же, бывало, так и не просыпался.

Так и жили... Бог даст, как говорится. И ведь давал.

Когда корабль со спящим шкипером прибывал в деревню, конь подходил к старой часо-венке и ждал ровно пять минут. Если за это время к нему никто не подходил, он начинал объедать заросли огромных лопухов, что обильно росли в пространстве древнего пепелища за часовней.

Конь считал, что, сделав свое нелегкое дело, имеет полное право расслабиться у себя дома. Увлекаясь лопухами, Рыжик совершенно терял ориентировку во времени и пространстве и мог залезть вместе с телегой в такие чапыжи, что выводить его оттуда, через крапиву и колючки было сущим наказанием. Поручалось это нам – деревенским недорослям. Бабы и старики с пустыми кошелками и корзинками, разбудив Андрея Ивановича, проворно ловили наши юркие велосипеды за багажники и уговорами или просто пинками гнали вызволять кусок своего хлеба насущного из репейной неволи.

Как я уже говорил, конь был глуховат и мало восприимчив к насилию. И это очень осложняло дело. Приходилось через тернии пролезать прямо к его огромной одноглазой башке, хватать за узду и тянуть изо всех сил в сторону, чтобы развернуть этот упрямый «трактор с прицепом» и вывести его из чащи. Рыжик, находясь в блаженном ступоре, недоуменно косил фиолетовым глазом на мелкого заморыша, посмеявшегося прервать его заслуженную трапезу, страшно скалил черно-зеленые зубы, фыркал толстыми губищами, сворачивал их в трубочку и пытался плюнуть в обидчика.

Дед Андрей в это время, стоя на телеге, вожжами лупил по деревянной спине коня и хулигански орал: «Но! Но, мой хороший! Давай, пошла-пошла. Раздайся, грязь, говно плывет!!! В стороны, черепки! Ну, ебит твою мать! Куды прешь, гребаный ты по башке!».

Рыжик упирался. От обиды он наваливал кучу, а потом, нехотя поддавался грубому насилию и трогался с места.

Минут через десять телегу вызволяли и она, сделав почетный круг вокруг часовни, ехала обратно к дому Андрея, где, собственно, и происходила продажа. Народ, сохраняя сложившуюся за время освобождения очередь, обрадованно топал за вожаком хлебным ящиком, словно за свадебной процессией, обсуждая бесплатное развлечение.

Когда телега останавливалась, из дома выходила Андреева жена – бабка Сима и сразу же начинала визжать на высокой ноте: «Упырь, голодранец, алкаш, чтоб ты сдох, гад окаянный! Убожище! Всю кровь мою выпил...» И дальше – в том же духе.

Народ тихо ее ненавидел – она была вредная. Хабалка, короче, и Баба Яга. Сима постоянно злобилась на весь человеческий род. Как с ней прожил больше пятидесяти лет Андрей Иванович – балагур и весельчак, потешный хулиган, деревенский клоун и бабник – не ведомо.

Его любили, даже, можно сказать, обожали. Старики и старухи при встрече с ним всегда улыбались. А пьяненькая бабка Шура, помню, в Иванов день, как-то разоткровенничалась и проболталась: «Йе-ех, Дуся, да ты не смотри! Андрюха маленький, да й-ебкий...». При этом она как-то озорно хихикнула и лихо опрокинула в себя неслабую граненую стопочку.

Все старики, оказывается, тоже когда-то были молодыми.

Был молодым и дед Иваныч. Он страшно воевал, трижды был ранен, попал в плен, бежал, сидел после войны в наших лагерях. У него были вырваны осколками два ребра, перебит позвоночник, а немецкие овчарки выгрызли ему мясо на ляжках и плечах. Я видел эти страшные ямы своими глазами и мне, двенадцатилетнему дурачку, стало впервые страшно от слова «война». При такой жуткой жизни Андрей все равно оставался отчаянно веселым, любил травить разные истории, постоянно подкалывал деревенских и заслуженно носил кличку «Фулюган».

Отвизжав свое положенное, Сима начинала производить расчеты с населением. Ругались долго и нудно, но как-то привычно. Кому-то не досталось «белого», кому-то дали больше «бараньего», вместо «настоящего», кто-то просил в долг, кто-то поругивался из-за очереди... Нервное народное ожидание искало свой привычный выход.

Андрей Иванович, не обращая внимания на деревенские распри, вместе с ребятней тихо распрягал Рыжика и в торговле никакого участия не принимал.

Потом вел коня к пруду. Тот пил нудно, хлюпал, булькал в воде, переступал ногами, раздувал бока и громко пердел, словно исполнял трудную работу. Дед Андрей, стоя под самым хвостом животного и пошлепывая ее по задку, совершенно не слышал конского пердежа и не чувствовал чудовищного запаха. Они были едины – восьмидесятилетний дед и старый конь. Разве учуешь собственный запах?

Он навязывал своего любимца за дальними банями на задворках. Потом доставал из кармана краюху хлеба и протягивал коню. Тот благодарно шевелил ушами и тянулся к Андрею черными ватными губами, пытаясь в самое ухо, словно жалуясь на свою нелегкую судьбу. Дед замирал, и так они стояли долго-долго – человек и лошадь. Старые, неуклюжие инвалиды. Кроме друг друга им никто не был нужен на всей земле... Они устали, но их существование зачем-то все длилось и длилось. И словно насильно заставляло их плыть по течению до той самой последней воронки, которая им уготована. Наградой за их трудную жизнь стало долгое ожидание смерти.

Господи, ну что тебе еще-то от них надо?

Часто Рыжик срывался со своей привязи – цепь деду было не поднять, его привязывали на старую веревку. Она, конечно, рвалась, и конь, увлекаясь сочной придорожной травой, уходил прямо в деревню. Его не гоняли – привыкли.

У нашего дома мама посадила четыре маленьких березки – городским ведь всегда хочется эстетики. Ей казалось, что когда они подрастут, бабушкин дом будет выглядеть изящнее, в этаким левитановском стиле, что ли...

Душа требовала не только загородки для цыплят, полной поленницы дров и целиком заросшего ряской камышового пруда, а еще и чего-то неуловимо русского, лубочного... Голубенький дом с белыми наличниками, сирень и белые березки. Кра-со-та!

Когда березки чуть подросли, их, на мамину беду, заметил Рыжик.

Шествуя по деревне, конь всегда проходил над ними. Потом пятился задом, потом опять вперед. Потом блаженно застывал и валил огромную кучу. Березки эти верхушками чесали ему пузо, а может, и еще что поинтимнее... А кому, скажите на милость, это не нравится? Специфический орган, знаете ли, это пузо... Тут все рядом, и мужское в том числе. Ничто человеческое и коню не чуждо!

Он чесал свой живот, чесал до остервенения, вытянув морду к ослепительному солнцу, елозя по нежным веточкам, ожидая оглушительного взрыва животных чувств.

И с каждым днем куча у березок становилась все больше и больше.

Однажды, березки не выдержали конского сексуального насилия и просто сломались. Сломанные, они уже не доставали Рыжику до брюха. Сначала конь недоуменно пытался присесть на острые сучки, но это был уже не тот кайф, и он оставил их в покое. На следующую весну березки уже не отродились.

Зимой Рыжик жил в конюшне на окраине. Дед Андрей когда-то работал конюхом, передав по старости бразды правления более молодому «пацану» – тихому шестидесятисемилетнему зоотехнику на пенсии Семен Гурьянычу по кличке Гурыч. Тот сизмалства был неразговорчив и людям предпочитал коров, лошадей и свиней. Любая собака, даже самая злая, при встрече старалась облизать его с ног до головы. Быки смирились под взглядом, коровы, по мановению указательного пальца, выстраивались гуськом и шествовали на дойку. Лошади же сами подставляли ему свои головы под хомуты. И это все молча, без единого Семенова слова. В его конюшне было девять лошадей и идеальная чистота. Рыжику Гурыч нравился своим спокойствием и безошибочным знанием лошадиной души. Но хозяином своим он все равно считал Андрея Ивановича.

Когда темными зимними вечерами тот приходил в конюшню, Рыжик тихо ржал, призывая хозяина, и пытался просунуть свою огромную башку между жердей, словно боялся, что старик не найдет его в тусклом свете грязной сорокаваттной лампочки. Пьяный Андрей, как правило, посиживал в закутке с Гурычем и тихо дерябал с ним чекушечку. Поздороваться с конем часто забывал, и тот молчаливо ждал, когда мужики напьются и Иваныч полезет к нему целоваться. Он терпел и алкогольную вонь, и хриплый мат хозяина, и шлепки по губам, и его вечное «эх-хе-хех». Конь стерпел бы и любые побои, лишь бы знать, что тот жив, что наступит лето и они снова поедут за хлебом.

Андрея Ивановича похоронили в самом начале апреля, под крик рано прилетевших с юга грачей. Старик замерз пьяным в собственном огороде, свалившись между гряд, не дойдя до дома пятидесяти метров. Через неделю умерла и Сима. То ли от великой любви, то ли от потери смысла – ей некого было больше пилить.

Рыжик ничего об этом не знал. На Пасху Гурыч вывел его, наконец, на весеннее солнышко и долго чесал свалывшуюся шкуру, угрюмо приговаривая: «От, бя, жись, от, бя, жись... Осиротел ты, дурень, совсем осиротел...». Внимательно слушая поддатого Семена, Рыжик почуял неладное. Воспользовавшись тем, что конюх скрылся в конюшне, конь ушел на деревню. Подойдя к дому Андрея Ивановича, он ткнулся мордой в грязное стекло кухонного окошка и жалобно заржал.

Тишина. Пусто стало в деревне.

Весенние птички щебетали в голубой вышине, а из соседнего села раздавался нестройный звук гармони на басах. Пустой дом глазел слепыми глазами на весело журчащий в канаве ручей.

Рыжик все понял. Ждать ему больше нечего, и лета не будет. С невидящими от слез глазами он поплелся куда-то вдоль деревни, зачем-то завернул в проулок, споткнулся о какую-то жердь, и, завалившись на хлипкий пересохший тын огорода, умер.

Иванов день

Иванов день (7-е июля) в нашей деревне всегда отмечали с размахом. Каждый населенный пункт двух колхозов-соседей «Малиновки» и «Борьба» считал какой-нибудь престольный праздник своим. Троица, Владимирская, Иванов или Петров день – отмечались пышно, со столами, с гостями, с родней из города и народными гуляньями. Народ стекался туда из близлежащих деревень обычно после обеда и гулял там аж до поздней ночи.

Народные гуляния в деревнях семидесятых – это покруче Первомайского парада. Потому что гораздо веселее, потому что все свои и никакого официоза, потому что никаких лозунгов или портретов вождей из Политбюро, вьедливых партработников и профсоюзных стукачей. Мало кто понимал истинное религиозное значение данных праздников, но лишней повод расслабиться наши люди использовали на полную катушку.

Городские, если праздник выпадал на будний день, обязательно отпрашивались, брали отгулы, причем заранее, за месяц или больше, чтобы не дай Бог, что-то не сорвалось. И никакие премиальные или авралы для деревенских родителей оправданием служить не могли. В забитых людьми электричках везлись продукты из города. На станцию специально отряжалась колхозная машина или трактор с телегой, чтобы «детям» не тащиться семнадцать километров пехом с гостинцами, а то, не дай Бог, выпьют и съедят половину, пока идут.

Днем старухи и старшие женщины валом валили в церковь. Другие категории человечества церквей в те времена как-то побаивались. То ли наивно полагали, что поп и сексот – сотрудники одного ведомства, то ли, просто, не больно-то в Бога верили. Но стариков уважали и терпеливо ожидали их из церкви – просветленных и румяных, в белых платочках, с просвирками в узелках.

Бабушки наводили лоск на почти уже собранные столы с угощениями. Родня говела, плотая слюнки, терпеливо ожидая гостей. Шарилась вокруг и под столами мелкотня. В воздухе росло напряжение, и ожидание становилось нестерпимым. И, наконец, когда к дому подходил первый гость – праздник начинался. Часа в три примерно, как-то так.

Мы – мелюзга – ребятня до двенадцати лет, престольные праздники просто обожали. Скудное однообразие деревенской жизни нарушалось стечением огромного количества народа на маленькую сельскую территорию и поражало воображение. Люди текли ручейками – и все празднично одетые. Парни приходили сплошь в белых рубахах, а девушки в красивых платьях. Туфли они несли с собой и надевали уже в деревне.

Во время Иванова дня вредные взрослые разом становились добрее и не жадничали. Столы ломились от вкусок – драчены, заливная щука, вареное мясо, жареная курица, салаты всех мастей, крупеники с коричневой корочкой, пироги и пряженцы, конфеты, лимонад и даже (!) настоящая колбаса. От всего этого разбегались глаза, и нам хотелось съесть все. Бабушка тихонько подсовывала нам самые сладкие кусочки, а дед, сурово сверкая очами, грозил тяжелой ложкой. Но столы были большие, и ложкой до наших лбов он дотянуться не мог.

Гомон и разговоры. Потом вдруг дед затягивает: «Налей, налей, заздравную чашу» Все поют – это дедова любимая. Там еще женщины должны в конце петь дискантом: «Динь-динь-динь стаканчики!!!», а мужики басами: «Буль-буль-буль бутылочки!!!». Странная старинная песня, но на голоса раскладывалась идеально.

А еще дед любил «Раскинулось море широко». Когда пел, из его глаз слезы капали. Дед был очень старый и очень боевой: и Первую мировую, и Гражданскую, и Отечественную прошел.

Мужчины лихо пили водку или самогон, крикали и обнимали раскрасневшихся, хихикающих женщин, подливая им портвейн «три семерки» в старинные, вытасченные из бабушкиных сундуков рюмки.

После обильных столов все шумно вставали и шли покурить, а потом начиналось гулянье.

Гулянье – это просто. Народ, взявшись за руки, ходит группами и парами по деревне, поет песни под гармонь и пляшет. Толпится у каких-то наиболее громких гармонистов, снова пляшет, заходит в проулки особо голосистых домов, садится на лавочки и бревна. Хлопают мужские рукопожатия, обнимаются друзья, все целуют веселых женщин. Давно не виделись, рады. Вдруг кто-то запевает песню:

В дярвне живали – мятелки вязали,
В дярвне живали – мятелки вязали,
Мяте-мяте-мятелки вязали.

И все подхватывают, и никто не сачкует. Из распахнутых окон домов за столами тоже подтягивают, кричат, здороваются, приглашают за столы. Кто-то из родни или знакомых (а в деревнях знакомы все со всеми, и родня почти в каждом доме) заходит в дом, другим выносят по стопочке под малосольный огурчик, потом опять в толпу и опять танцы. А там гармонь.

Давай, гармонист, жарь! Частушек хотим! И понесется под вечерним июльским небом ввысь такое, что хоть уши зажимай. Вскочит мужичонка лет пятидесяти, эх!

Мимо тещино дома
Я без шуток не хожу
То ли х** в забор засуну,
То ли угол обоссу...
* * *

По дороге шла и пела
Баба здоровенная.
Жопой за угол задела
Заревела бедная...
* * *

Я *бал бы всех и сразу,
Кроме шила и гвоздя —
Шило острое, зараза,
Гвоздь вообще *бать нельзя...

И все это в пляске, с ответными выпадами этих самых тещ или здоровенных баб. И ответы женщин зачастую были еще и похлеще... Цензуры не было, народ простой, нетрезвый и веселый, особым воспитанием и лишним образованием не обремененный. Да и лето на дворе – вечер-то какой красивый, июльская теплынь...

Объевшиеся собаки сновали у ног, терлись и попрошайничали самым бессовестным образом, отказываясь от вожделенного когда-то белого хлеба. А потом жаловались друг другу на своем собачьем: «Иик-к-к, бля, Полкан, представь – опять мясо!»

А где-то у пруда, рядом с банями, молодежь заводила пластинки или магнитофоны – там жгли буги-вуги под завывания заграничных групп. Потом брэнчала гитара, и начинался концерт из песен ВИА семидесятых годов, а также блатных и дворовых напевов. Мы заворожено слушали сменявшихся у гитары гитаристов – класс! Некоторые песни продирали аж до слез. Особенно здорово лабал Жорик, светло-русый парень семнадцати лет, с черными,

как смоль, бровями и усами. Несомненный бабский любимец. Он приезжал каждое лето из Горького к бабушке в соседнюю деревню Бухтарицы. Такие песни пел этот Жора, ого-го! Любовные, романтические, блатные... А когда он жарил «Фантом», все вообще начинали повизгивать от счастья. На последних куплетах, где были слова:

– Коля, жми, а я накрою!
– Слава, бей, я хвост прикрою!"
Русский ас Иван подбил меня...

народ уже просто выл и визжал диким ором, видимо, балдея от патриотического угара и гордости за родимую страну. Так их, американцев!

Бывали, конечно, среди молодежи и драки. Но какие-то добродушные. Ну, врежут кому в глаз за дело, ну, малиновские с борьбовскими поссорятся, да повозятся за банями. Из-за вражды старинной, или из-за девки какой.

– Эй, вы, горшаны! – это малиновским.
– Молкни, болото мокрое! – это борьбовским.

«Горшаны» – это потому, что колхоз «Малиновки» когда-то славился своей гончарной артелью – крынки, жбаны, горшки и свистульки – все оттуда. Почти каждый в колхозе горшок скатать мог. Наследственное.

А «болото» – это потому, что «Борьба» располагалась, приткнувшись к обширным Костромским разливам, и там основной страстью и побочной профессией являлась рыбалка. И без улова с разливов еще ни один борьбовский не приходил. С пяти лет крючок привязывать умели и как поплавки из пенопласта вырезать знали.

Грубо говоря, пехота и моряки. Такие во все времена не больно-то ладили. Так что вражда такая застарелая и замшелая, что стыдно вроде и драться-то уже. Колхозы-то маленькие – по семь-восемь деревень всего, и расстояние от края одного до края другого – шесть с половиной километров в самом широком месте.

Наплясавшись, напевшись и напившись вволю, народ начинал возвращаться по своим деревням. Некоторых «павших» несли, а некоторых, особо «тяжелых», оставляли ночевать на сеновалах у родни. Но шли весело, пытаясь и в дороге веселиться. Человек продолжал любить человека. Гитары и гармони еще долго звенели в ночи за деревней.

Дорога все шла, останавливаясь у деревушек, кто-то с нее сходил, а кто-то продолжал идти дальше и дальше. Песни слышались все тише и тише, пока, наконец, совсем не стихали в предутренней дымке.

На землю падали росы, и новый день открывал свои глаза в голубеющем небе. Земля тоже была тогда бело-голубой от обильных полей льна, от моря васильков и ромашек на лугах. И хотелось жить на этой земле долго-долго, здесь, с этими добрыми людьми, что никогда не запирают дверей в домах, и пьяницы среди них – все наперечет, а жмотам – просто не подадут руки. Петть с ними песни, слушать небылицы, ходить на рыбалку, смотреть, как дед крутит колесо гончарного круга, воровать яйца из-под куриц для жарехи с карасями. А по утрам есть драчену с молоком, что только что вынула из печи моя большая добрая бабушка.

Ведь мы тогда точно знали, что этот мир – замечателен и добр, и верили, что так будет всегда.

Это «всегда» навсегда закончилось, не оставив после себя ничего взамен...

Мешок

Во вторник, шестого июня одна тысяча девятьсот семьдесят какого-то года, около двадцати трех часов пятнадцати минут, в окошко избы, принадлежащей вдове Фекле Васильевне Чумиковой, раздался тихий воровской стук.

Бабка, крихтя, поднялась с постели, и всмотрелась в сумеречное молоко за стеклом.

– Кто там? – хриплым фальцетом пропищала она.

К стеклу немедленно прижалось что-то розово-бесформенное, похожее на мякиш ситного. Фекла взвизгнула и, мелко крестясь, отпрянула назад. С грохотом упал стул. От ужаса сердце подскочило, застряло в горле и оно мгновенно пересохло.

«Все! Ингхваркт херакнул!» – подумала вдова.

За стеклом раздался знакомый хриплый шепот.

– Бабка Фекла! Комбикорм возьмешь? Да, не ссы ты... Это я, Тоха...

Бесформенное отлипло от стекла и превратилось в полупьяную физиономию тракториста Нямятова. Трясущееся сердце отпустило.

– Чего тебе, бандюга?

– Комбикорм, говорю, возьмешь, старая?

От слова комбикорм ей стало значительно лучше. Любопытство и корысть заменили первоначальный страх, и она начала отвязывать веревочку рамы от гвоздя.

– Мешок-то большой? – сразу взяла быка за рога Чумикова, – Две бутылки, больше не дам!

– Ты чо, охренела, что ли? Сорок кило! Три же всегда у всех!

– Вот и ступай к им. Ищи тех дураков. Три, ишь чего захотел, окаанный! Да за три – я двух овец в Бабурине куплю.

– Ба-абка, мать твою, ети! Имей совесть!

– Совесть ему подавай, алкоголику. Пшел отселя, пшел...

Торговаться Фекла умела и любила. Гены. Папаша ее, еще до революции, работал приказчиком в мясной лавке в Питере и передал веснушчатой дочке, вместе с петушками да пряниками в редкие свои посещения, знание психологии клиента и неумную жажду стяжательства и наживы. Никуда Тоха не денется – очень уж выпить ему охота.

Она потянула веревочку окна на себя, обрывая разговор. Тоха схватился за раму и пошатнулся на хромой скамейке.

– Стой, дура, убьюсь же, на хрен! – зашипел он, дохнув на нее пьяной смрадью, – Черт с тобой, давай две... Чтоб тебя скрючило, старая пердунья!

Нямятов прыгнул во тьму. Фекла, не зажигая света, пошла открывать двор. Через пять минут сделка свершилась. Две бутылки отличного чумиковского самогона были обменены на здоровенный, туго надутый, как шар, мешок. Тоху моментально сдуло. Бабка набросила на мешок черную и грязную коровью попону и вернулась в дом.

Залезая на постель, она перекрестилась на божничку с лампадкой. Иисус смотрел на нее как-то не так. Его брови хищно изогнулись, торчащий палец стал еще выше и угрожающе пошевеливался в трепете пламени. Губы Спасителя сжались в суровую гузку, а правый глаз, вроде как прищурился, словно выбирал цель на стрельбище..

– Осуждает, – подумала Фекла, – Господи Иисусе, всеблагий, прости мя, грешную! Ох, грехи наши тяжкие!

Она прилегла, но сон к ней так и не пришел.

Сказочное коровье лакомство – комбикорм – в советских магазинах не продавалось, шло только на фермы для увеличения надоев колхозных буренок и являлось материальной ценностью особо строгого учета.

Кража комбикорма каралась по всей социалистической строгости. Но его все равно крали – комбикорм являлся в натуральном хозяйстве деревни прекрасным заменителем денежных знаков. Попадались, судились, даже садились, но воровать не переставали. Надо отметить, что украсть у родного государства всегда считалось признаком особой доблести советского человека и деревенскими людьми не осуждалось. О факте хищения говорили: «достал, взял немного, добыл удачно, принес с фермы, почистил складские остатки», и тому подобное. В те прекрасные времена и появился универсальный термин всего этого: «скоммуниздить» – очень емко и очень точно.

А вот воровство у своих односельчан, наоборот, считалось верхом позора. Клеймо «поганца» людская молва выжигала на лбу такого жулика навечно. И даже детям этого поганца немного оставалось. Оттого, наверное, и двери в деревнях никогда не закрывались. Припрут ворошилкой и уходят на весь день. Такая была жизнь и такая вот логика.

Бабка Фекла ежилась на постели, гнездясь и призывая прерванный сон. Странное поведение Христа на любимой иконе не давало покоя. В голову лезли нехорошие предчувствия. Она закрывала глаза, потом открывала, потом снова закрывала.

В полусне перед ней проносились смутные сцены с чертями у котла. Потом черти вдруг оборачивались в милиционеров, а котелок – в коляску желтого мотоцикла. Мотоцикл, натужно ревя, взлетал и поднимался все выше и выше в облака. Свистел в ушах ветер, а старший черт, ухмыляясь, кричал, хлопая ее по плечу: «На семь лет, милочка, на семь лет!». Хвост его, при этом, вращался и жужжал, словно пропеллер.

Фекла в ужасе проснулась. Вытерла ладонью холодный пот с дряблой шеи и села. А вдруг, и вправду, поймут? Кой черт, я связалась с этим оглоедом?

Вдова беспокойно проворочалась до утра. С рассветом она пошла на двор. Злополучный мешок под попоной нагло торчал своим толстым пузом наружу. Любой, случайно зашедший, сразу бы понял, что это такое.

«Вот я, старая дура! Спрятать же надо. Лучше в доме, – пронзила ее внезапная мысль, – в доме искать не будут. Там санкцию прокурора надоть. Вот им, шиш!».

Старуха ухватила за горлышко и волоком потащила мешок по лесенке в избу. Сил у нее было немного, но страх и уверенность в правильности принятого решения делали свое дело. Совершенно взмокшая, она, наконец, перевалила мешок через порог избы.

В маленькой комнатке, упавший набок куль казался огромной серой свиноматкой. На боках свиноматки красовался огромный черный штамп: «Комбикорм. Колхоз «Малиновки». Бригада № 7». Она злобно пнула его ногой. «Чтоб ты провалился! Куды вот тебя теперя?»

Запихнуть мешок в какой-нибудь угол не было ни малейшей возможности.

«На печь!», – незнакомый гнусавый голос, неожиданно шепнул ей прямо в ухо. Она, было, возразила – зачем? – Надо, и все! – ответил голос. Потом тишина, только ходики на стене – тик-так, тик-так...

Та-ак! Вот они, чертики-то? Она истово начала креститься. Иисус в углу напрягся, прислушиваясь к ее обрывистым молитвам, но бровей не расправил. Его прищуренный глаз снайпера смотрел ей прямо в лоб.

Фекла долго карячилась на шаткой табуретке, пытаясь втянуть тяжелую мешочную тушу вверх. Прижимала ее к ступенькам, держала животом, потом приседала и пыталась подтягивать слабыми руками за надутые бока, даже кусала мешковину вставными пластмассовыми челюстями. От натуги лицо ее сделалось красным, вены на ногах и руках вздулись, пот капал в глаза, шаталась челюсть и болел живот.

По прошествии двадцати минут неимоверных усилий вес таки был взят!

Мешок, как пьяный мужик, медленно вполз на печку и затих. Его жирная задница торчала наружу, бока упирались в потолок. Дело было сделано, однако следы преступления со всех сторон комнаты видно стало еще лучше. Гордое слово «комбикорм» красовалось прямо

напротив входа. И самое главное – достать добро из мешка не было, ну, совершенно никакой возможности. Он за что-то зацепился и не хотел разворачиваться. Обессиленная Фекла чуть не заревела от досады, сухо плюнула на пол, и пошла доить корову.

Подоив, она вышла на божий свет. Утро занималось над деревней. Яркое солнышко немного успокоило ее расшатанные за ночь нервы. Бабка решила сходить к соседке, открыла калитку и обомлела. У дома Тохи Немятова стоял милицейский мотоцикл со знакомой до боли желтой коляской. Никого рядом не было.

– Вот и Божья кара! Тоху пытаются, сейчас сдаст, – в мозгу, странно гнусава, знакомый голос затянул по-блатному: «...и никто не узнает, где могилка моя...»

Немедленно отказали ноги, и дико захотелось в уборную. Замелькали черные мошки, и засвистело в ушах. Мир покосился, встал сначала набок, потом вообще кверху ногами, и она грохнулась оземь. Не приходя в сознание, Фекла, прячась за лопухами, на карачках поползла в дом.

«Прости, Господи, Боже наш, всемогущий и праведный. Иже еси на небеси! Да что же делать-то? Да куды ж меня теперь? Да как же это так, да что же это, мама моя дорогая! Провались пропадом и этот комбикорм, и Тоха-алкоголик вместе с ним! Посадят ведь, меня, старуху, на семь лет. А мешок-то, мешок? Мама! Караул!!!»

Когда она переползла через порог комнаты, пронзительная безвыходность собственного положения стала ей окончательно очевидна... С печи на нее глядел мешок, улыбаясь грубым швом по всей своей длине и хвастаясь жирной надписью о своем криминальном содержимом. Никаких сил исправить это у нее не осталось.

Несчастную старуху стал покидать последний рассудок. Спасаясь от справедливого возмездия государства, от наглых голосов, от злого Иисуса-снайпера, она заползла под широкую кровать и там горько заплакала, проклиная свою непутевую судьбу. Со звоном начали падать спрятанные там бутылки самогона и выкатываться прямо в избу на всеобщее обозрение. От обиды Фекла завывала еще жалобнее.

Подкроватная пыль забила ее в нос, и старуха широко чихнула, звонко ударившись головой о пружины. В спину же стрельнуло так, что волосы встали дыбом от дикой боли. Она закричала, но никто ее так и не услышал.

* * *

Вечером к ней зашла соседка-сплетница Шура, рассказать, что алкаш Немятов добыл где-то самогона, нажрался и всю ночь гонял жену. Дошло до председателя и тот, наконец, вызвал милицию. Рано утром на мотоцикле приехал участковый по кличке Борман, дал Тохе в ухо, и отвез в район на пятнадцать суток. Но выложить эту историю не успела.

Картина, открывшаяся перед ней, была странной. Феклина задница торчала из-под кровати, откуда доносилось глухое завывание и несвязное мычание. На вопросы бабка не отвечала, на тычки – не реагировала. Шура забила тревогу.

Полдеревни вытаскивало грузную старуху из плена. Тело бабки Чумиковой затекло и не слушалось, спина совершенно не гнулась, а глаза были какими-то сумасшедшими. Она тихо икала и тряслась.

К ночи Коля Макаров повез Феклу в районную больницу. Шура расплатилась с ним подобранной с пола бутылкой самогона. Остальные бутылки и мешок комбикорма она унесла к себе для сохранности. «Вернется ли бабка, кто знает?» – трезво рассудила она.

В больнице старухе Чумиковой сделали два укола и она беспокойно заснула. Ей снова снились черти на мотоцикле, огромный мешок, в котором сидел тракторист Немятов и чей-то направленный ей в грудь указательный палец.

Дуськин баран

Деревня, куда нас, недорослей, ежегодно летом, словно десантников, сбрасывали родители, звалась просто – Хмельничново. Бабушка с дедом были еще в силе – лет по шестьдесят пять, и жизненной радости совсем не растеряли.

Мы же с двумя двоюродными братьями – Валеркой и Колькой – росли там, словно трава в поле – дико и счастливо. Никто нас не воспитывал, практически не контролировал и, кроме кормежки по четкому деревенскому графику, ничем особо не обременял.

В то лето было нам лет по одиннадцать, наверное.

По соседству, через пару домов жила пожилая вдова – Дуся, баба громкоголосая, хаба-листая, но какая-то непутевая. Из скотины у нее была корова, да баран – Бориска.

Баран тот был личностью, и личностью исключительно любопытной. Дело в том, что Бориска был "нелегченным" бараном. То есть, в отличие от других деревенских животных его породы, имел огромные яйца и, как следствие, сохранил бойцовский дух, этим животным природой своей присущий. Дуська-вдова, видимо, испытывала благоговение перед мужским естеством, и ни за что не соглашалась его кастрировать.

Любое движущееся препятствие Бориска считал личным врагом и охотно атаковал его крепкими закругленными рогами и "дубовым" бараньим лбом. При чем, ему было все равно – человек это, мотоцикл или "хлебная" телега. Собратьев же – скотов – Борис не трогал. Бил рогами только то, что относилось к людскому племени. И еще очень не любил свой омшаник и никогда с первого раза вечерами в него не возвращался, предпочитая пройтись по деревне и поискать себе, на свалывшуюся жопу, приключений.

Ребятня нашей деревни (человек восемь оборванцев) всегда ждала пригона стада с особым нетерпением. После того, как всех Зорек, Машек и Красулек загоняли по хлевам, Бориска благополучно ускользал от Дуськи, напрасно манившей его куском настоящего хлеба, и шел в свой патруль по улице, громко блея и вызывая нас на священный бой.

Мы принимали вызов. И даже специально надевали особую форму – старые валенки с калошами (летом!) и старые же драные фуфайки.

Борька проходил насквозь всю деревню, возвращался и ровно в середине деревни, у покосившейся разалюхи-часовенки, вставал и наклонял голову вниз.

– К бою готов! – словно говорил он.

По очереди или кучей, лавируя как канонерки, мы подбегали к Борису и ловко, пяткой, пинали его в лоб валенком. Тот отбивал удары очень профессионально и довольно чувствительно, тут же бросаясь вслед убежавшему гаденышу. А гаденыш забегал за электрический столб и уже из-за столба, валенком, вновь бил барана по рогам. При чем за столбом, бывало, накапливалось до пяти человек, и каждый пытался подставить валенок под борькин удар. Это вызывало страшную эйфорию и особую радость юных придурков. Иногда Борис промахивался и, разбежавшись, врезался башкой в столб – радости нашей при этом не было предела. Но чаще все-таки Боря бил по валенкам. И с каждым ударом свирепел и прибавлял в силе.

Как-то раз, когда баран был уже на пределе свирепости, а за столбом накопилось уже слишком много народу, я случайно выкатился на открытое пространство.

Поскользнулся на коровьей лепешке, упал и растянулся на травке.

Свершилось! Борька дождался своего звездного часа. С места, без обычного разбега, он рванул в мою сторону с радостным блеяньем и с наклоненной для удара чугунной башкой. Я попытался позорно сбежать, и только-только успел повернуться к нему задом, как в этот мой весьма хлипкий объект, словно бревном, вдарило так, что я, приподнявшись над землей на полметра, полетел по ровной дуге и врезался в гнилой палисадник дома известной тетки-

бузы Насти Ковшиковой. Проломив его головой, я застрял там безнадежно, зацепившись "модной" фуфайкой за торчащие гвозди и щепки.

Ужас, охвативший меня, был чудовищным. Я понял, что наступила расплата за все наши издевательства над безумным животным и оно, это животное, сейчас оторвется на мне по-полной.

Я не ошибся. Борис совершенно не обратил внимания на героические попытки друзей отвлечь его от меня и вдарил снова по тому же месту. Второй удар был не менее силен, чем первый. Гнилой забор лопнул окончательно и похоронил меня под ним. Я же, уткнувшись лицом в черную землю грядки, заголосил диким матом со слезами на глазах. Вывернуться не было никакой возможности, и зад мой все еще был открыт для атаки.

Я слышал, как возбужденно орали сверстники, как пытались пинать Борьку, как упрашивали его, но он был непреклонен, и третьим ударом загнал таки шар в лузу! Я пролетел еще несколько метров и вонзился в лавку у дома, на котором стояло корыто с только что замоченным бельем.

Стоя на карачках, мокрый, с какими-то огромными женскими трусами на голове, я был унижен бараном до самого дна. Видимо, поняв, что мне хватит, Борька с веселым блеяньем побежал домой, высоко подкидывая от неимоверного счастья задние копыта.

В это время разбуженная грохотом своего ценного корыта Настя Ковшикова, огромная баба пятидесяти лет, выскочила из дому. Увидев меня с ее трусами на голове, она заорала диким голосом такое, что я понял – это еще не все... Все мои поделники разом сдулись, словно их и не было. Я остался один на один с новой бедой.

Подбежав ко мне, Настя огромным валенком с галошей (что поделаешь, говорил же, мода такая) врезала мне в ту же точку со всего маха такого славного пенделя, что я вновь немного взмыл вверх по параболе. Приземлившись (слава Богу!) на благословенную травку, я на четвереньках потрусил в сторону дороги и оттуда уже к бабушкиному дому, ни разу не встав на ноги.

И когда до дому уже оставалось метров пятнадцать, старый и слепой пес Валет, дрыхнувший прямо посреди дороги, вдруг, спросонья, увидел бегущего по его родной деревне чужого четвероного. Собак бросился меня догонять и сослепу тяпнул в ногу. Единственный клык зацепился за галошу и она слетела. Храбрый старик Валетка воткнулся мордой внутрь галоши, проехался по пыли и свалился в канаву. От обиды бабай завыл и залаял так, словно на деревню напали татаро-монголы.

От этого дикого лая в окна повылазило почти все население деревни и в том числе одна хорошенькая городская девочка Оля, по которой я тайно вздыхал и даже писал ей стихи.

Такого позора я уже выдержать не смог и горько заревел от обиды на весь несправедливый мир.

Когда я прихромал к дому, деревенская молва меня уже опередила. Бабушка грозно подбоченившись уже приготовила мне теплую встречу. В руке у нее был... Что бы вы думали? Правильно, – валенок.

И этим валенком...

Ой, баба, ну, больно же!!!

* * *

А Бориску-то потом кастрировали по многочисленным просьбам трудящихся... А жаль!

Вот такая вот правдивая история.

Мася моя

Тоха Портнов был горьким пьяницей.

Районный нарколог, грустно глядя в Тохины глаза, буднично продиктовал улыбчивой медсестричке: «Типичный случай хронического алкоголизма второй стадии, с элементами социальной деградации личности».

Опа, как! Ни больше, ни меньше. Деградация личности.

Смягчившиеся за много лет ежедневного питания, мозги вяло ворочали это слово по законам сознания, отыскивая доступный эквивалент, но все было тщетно. Там такого слова не было.

– Падший ты человек, Анатолий, – словно услышав его тревожные мысленные вопросы, спокойно сказал доктор, – тебе нужна только водка и больше ничего.

Толя тупо гоготнул: «Не-е! Я еще коньяк уважаю!»

Медсестра фыркнула, а привыкший к ерничанью пациентов доктор, молча отвернулся и стал что-то записывать в карточку.

– Эй, Сережа! – крикнул он в приоткрытые двери, – можно забирать.

Вошел юный младший сержант с какой-то книжкой в руках, надел на Тоху наручники и увел в камеру.

– Водят, водят, таскают, – забубнил узник, переступив через порог, – и так все понятно. Чего им еще надо-то?

Действительно, все в недолгой Тохиной жизни было понятно. Восьмилетка, колхоз, перестройка, тюрьма, бомжара.

Впрочем, нет. Не совсем бомжара. Дом-то у Портнова был – кривая изба, с вросшими в землю наличниками, дырявой крышей и загаженной территорией – и снаружи дома, и внутри его. Топчан, лавка с коричневым от сала матрасом и подушкой, да хромой прожженный стол с двумя ящиками из-под водки вместо стульев.

Это богатство досталось ему от отца – Николай Николаича, по кличке Коля-Коля, известного деревенского алкаша времен недоразвитого и развитого социализма. Вечно пьяный тощий человечек, с огромными рыжими бровями-козырьками, он любил подсаживаться к детям и подросткам и рассказывать о былом. Рассказы Коли-Коли были незамысловаты и всегда касались одной и той же темы – водки и досужих баек о знаменитых пьяницах деревни Хорошавино. Типа, как еще в одна тысяча девятьсот одиннадцатом году его, пьяного до бесчувствия отца-горшечника, привозила в санях с ярмарки в Ярославле умная лошадь. Сама приходила – дорогу знала.

– Тудыть вашу мать, черепки! Чего смеетесь? Всегда у нас пили, всегда. Привезет, бывало, лошадь батю-то, а на спине номер мелом нарисован. Знать, в полицейском участке ночевал родитель. Ни денег, бывало, ни горшков при ем. Один перегар! Гы-гы-гы...

Так что родословная у Тохи Портнова была знатная. Иного выхода, как стать деревенским синяком, у него не было.

Деревня Хорошавино была обычной деревней Нечерноземья. Когда-то она была богата людьми. Жил колхоз, колесили трактора, хлопали жатками комбайны. На сенокосе баб – целая рота! Все в белых платочках, с граблями. Тут же подростки – копушки таскают, а мужики вилами на стога подают. Община, блин, единение! Даже чувство гордости какое-то было, ей-Богу! О стране думали, о международном положении, о том, как хорошо в стране Советской жить, американцев да китайцев жалели!

Эх, ма! Где это все теперь? Три синяка, десяток дачников и полдеревни брошенных домов.

Тоха сидел на деревянном настиле вонючей камеры. Голова его почти упала вниз и тихо раскачивалась. Уже второй день он был нетрадиционно трезв и это его пугало.

В башке толкались жуткие мысли, городились огородами неприятные воспоминания – начинала просыпаться совесть. Страшно. Казалось какая-то тень без лица бродит в коридорах мозгов и громко хлопает дверями. Словно кто-то ищет чего-то в непутевой Тохиней голове и никак не может найти. Кто это? Чего ему надо?

Иногда от страха хотелось забиться в угол и выть. Тихо, протяжно выть, словно умирающая собака.

Его трясло, бросало в жар, а потом липкий холодный пот вдруг накатывал тяжелой волной и тек по спине, по подмышкам и паху противными ручьями.

– Суки!!! Водки дайте, козлы! – он то воинственно орал в направлении дверей, то еле слышно жалобно хрипел, – сжальтесь, ребяташки, водочки бы мне...

Но никто не пришел ему на помощь. Он знал, что там, за дверями, были люди, а еще дальше жители районного поселка, области, страны, мира. Но никто не слышал его, он никому на этом свете был не нужен. Население праздновало Новый Год, и плевать им было на все и вся, а уж на него – Тоху Портнова – и подавно.

Голова качалась, как качели. Туда сюда, туда сюда. От этой качки ли, от страха ли, от зверской тишины ли память вдруг начала оживать, как дачный телевизор после зимы, щелкать косой разверткой и даже запахла резким запахом марганцовки.

– Не хочу!!! – кричало сознание, – не хочу!!!

Изображение резко вспыхнуло, и тут он увидел ее. Ее – Гулю, свою голубку. Портнов знал, что увидит ее. Ждал и боялся этого, заливая память свою вонючей горечью алкоголя.

Это она ходила там, в его голове. Это она искала его душу и звала куда-то. Это она – та, которую он любил и которую нечаянно убил.

Он вдруг заплакал. Громко и горько. Слезы, что стояли комком в горле, враз задушили его и вырвались на свободу, растекаясь по грязным щекам, и крупными каплями падая на черный пол.

Прижимая руки к лицу, словно стыдясь этих неожиданных слез, Тоха заполз в угол камеры и, стоя на коленях, уперся в него лбом.

– Гуля, Гуленька моя, светик мой, мяся моя!!! – он выл, и каждое слово, вылетая из его трясущегося рта, ударялось вместе с его головой о влажную липкую стену, не находя выхода в этой черной капсуле безвременья, где он был заживо похоронен.

– Господи, иже еси на небеси, да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, – эти слова молитвы совершенно неожиданно пронзили его слабой надеждой. Словно холодная стальная спица вонзилась в темя.

Бог или дьявол медленно отклеивали грязный пластырь с его глаз, и все то, что называлось им смыслом и счастьем, – перестало им быть, и все, что казалось горем, – стало смешным... И не осталось вообще ничего, кроме стыда, распухавшего комом в грудной клетке.

– Гуля, прости ты меня! Господи, и ты прости!

* * *

Портнов случайно встретил ее на станции, куда время от времени ходил шакалить и, если удастся, подзаработать.

Девчонке было лет двадцать, не больше. Ему, сорокалетнему, она казалась грязной пигалицей, птичкой на тонких ножках, аккуратно роющейся в мусорном бачке. Маленькая головка ее была повязана цветастым платочком, в руках – стандартная авоська бомжихи. Она искоса заглядывала в вонючую пропасть бака и, оглядываясь по сторонам, изящным движением быстро вылавливала оттуда какие-то полезные предметы.

Впервые Тоха испытал к другому человеку нечто похожее на жалость. В их мире, где каждый был за себя, и каждый был волком другому, постоянная борьба за жизнь никогда не давала поводов для сантиментов.

Но сейчас...

Он окликнул ее. Женщина испуганно оглянулась, всматриваясь, и неожиданно подошла. Видно в Тохиной морде сквозило дружелюбие и отсутствие желания драться.

Они разговорились. Девушка уже два года как приехала из Киргизии. Сирота. Детдом. Кинули с квартирой, выкинули на улицу. Обычный расклад. Все люди их круга проживали одну и ту же жизнь. И хотя горести и напасти у них были разными, итог всегда был одним и тем же.

Внезапно Тоха почувствовал тепло к девчонке. Потянуло. Они выпили (у Тохи было), закурили и уже вместе пошли в Хорошавино, что лежало от станции в семи километрах.

Потом друзья пришли домой, снова выпили и стали жить-поживать... Добро, конечно, наживалось не важно – попивали они сильно. Но жить Тохе стало лучше.

Гуля, в общем-то, и пила-то немного, разборчиво. Ей, пигалице, надо было не больше полстакана водки. Выпила – и уже поет. Тоха очень любил слушать ее песни – заунывные и щемящие душу с непонятными словами и чужой мелодией.

Девушка поведала, что по национальности она крымская татарка, так ей в детдоме сказали. Она легко щебетала, как поедут они с Тохой в Крым, и как там будет хорошо да тепло. И яблоки, мол, там, и абрикосы с ананасами, и арбузы... Она так увлекательно об этом рассказывала, что Портнов, слушая эти небылицы, даже верил, что есть такие края, где всегда тепло, где море и горы фруктов. Сама Гуля никогда в Крыму не была, но очень хотела туда попасть. Все ее мысли были об этом, и Анатолий дал себе зарок, что когда-нибудь они поедут с ней туда.

Так и пропели они всю осень. А потом нежданно пришла зима.

Зиму Тоха ненавидел. Злая она всегда какая-то. Вечно воруя дрова, топи худую печку и дрожи от холода в обносках от дачников.

Городские разъехались, не стрельнешь десяточку на гамыру. Надо воровать. А шо делать?

Не очень любил Портнов воровство, да ведь зиму-то просуществовать надо. Горожане бросали на дачах много богатств. Тут тебе и алюминиевые кастрюли, вилки, ложки, дуги с гряд, тут тебе и одежка вполне еще добрая – рубахи, майки, джинсы, пуховики и даже вполне сносные дубленки. Попадались неплохие приемники и телевизоры. Святое дело – забрать лампочки и электросчетчики. Да мало ли добра сложено на дачах?

А не хрен было бросать родные деревни и в города переезжать! Делитесь с аборигенами. Они-то чем виноваты, что не судьба им в городе на пуховых перинах валяться да душ Шарко принимать? Экспроприация экспроприаторов!

Гуля всегда помогала Тохе. Не нравилось ей, а помогала. Дело-то ведь общее. Жить надо, выживать... Бывало возьмут они саночки, да в дальнюю деревеньку какую. Везут ворованное добро домой, аль на станцию – радуются, что не биты, сыты и пьяны. Нормальная жизнь.

Наступал Новый год. Портнов сходил в лесок, принес пушистую елочку и нарядил какими-то золотинками, фантиками и блеснами из украденного рыбацкого набора. Красота!

– Мася моя, сегодня ночью поеду в магазин в Погорелках.

– Тоша, нельзя этого делать. Поймают – убьют или посадят.

– Поеду, милая, поеду...

– Тогда и я с тобой!

Уж очень хотелось Анатолию подарок Гуленьке сделать. Встретить Новый год в сытости и радости. Может, тогда и будет еще у них Крым? Может, не зря они встретились?

Саночки катились легко. Мороз был знатный – градусов двадцать, а то и более. Ночное небо весело светилось лампочками звезд, под ногами скрипел белый снег, легко дышалось и казалось, что все им по плечу.

Гвоздодером легко вскрыли заднюю дверь магазина и залезли в тепло. Пьяный сторож, верно, ушел домой – тоже, поди, синяк деревенский. От изобилия товара потекли слюни. На полках выстроилась тушенка, каши с мясом, сыр, колбаса, крупы. Этого добра хватило бы им года на два. Он схватил нож, отрезал шмат копченой колбасы и, ощутив забытый вкус, чуть не поперхнулся.

– Смотри, Гуляша, богатство-то какое!

Он повернулся к девушке. Та стояла у стойки со спиртным и глядела на нее, открыв рот. Там было расставлено несколько цветастых бутылок коньяка и мартини. Еще шампанское и какие-то вина. Видно, завоз к Новому Году.

– Гулька! Счас гульнем. Чего хочешь?

Он, не глядя, схватил первую попавшуюся бутылку – это был коньяк «Кизляр три звезды», и из горлышка, запрокинув голову, мгновенно засосал четверть.

– На, деточка.

– Тош, я мартини хочу. Я никогда его не пробовала. Можно?

– Дурочка! Это все твое! Пей, сколько хочешь.

Гуля осторожно достала бутылку со стойки и легко отвинтила пробку. Сладкий сок вина полился внутрь легко и нежно, обволакивая горло легким привкусом хорошего вермута. Она пила и пила, не желая останавливаться. С каждым глотком ей становилось все легче и радостнее. Когда Тоха, смеясь, с чмоканьем, оторвал от ее губ бутылку, там оставалось уже совсем немного.

– Ну, как, масюша моя? Хорошо?

– Ох, хорошо, Тошенька, ох, хорошо. Дай я тебя поцелую, волшебник ты мой.

Она потянулась к нему мокрыми сладкими губами, и они стали целоваться. Долго и страстно, как никогда до этого.

Гуля потянула его вниз на пол. Стягивала с него телогрейку, пытаясь залезть внутрь, к теплomu мужскому телу.

– Тихо, дуреха, тихо. Мы же с тобой воры. Тихо малышка, не шуми. Домой приедем, я тебя там до смерти зацелую.

Потом они пили еще, лежа прямо у стойки, и когда Гулькино мартини кончилось, она неожиданно прижалась к Тохиному боку и тихо заснула.

– От, ты блин, оказия!

Разбудить девчонку не было никакой возможности, и пьяный мужик, поразмыслив, решил везти ее домой на санках. Он вытащил Гулю из магазина и погрузил на самодельную «воровскую» платформу. Достал рюкзак и вернулся в магазин. Там он долго выбирал самое ценное. Самым ценным оказался коньяк, все тот же «Кизляр три звезды». Он наполнил коньяком вещмешок и с трудом взвалил его на спину. Две бутылки не влезли, и он сунул их в карманы. Забрал несколько банок тушенки и положил их в карманы Гулькиного полушубка.

– Эх, хорошо зашли! – Тоха достал бутылку, свернул ей голову и присосался к коньяку. Тот бодро вливался в нутро и согревал душу, – поехали, Гуляша, поехали!

Портнов поднатужился и, шатаясь, попер сани со спящей девушкой домой. Он был уже здорово пьян, но таки преодолел триста метров узкой лошадиной тропки и выехал на тракт – до деревни пять-шесть километров.

– Доедем, бля, где наша не пропадала!

Сколько раз останавливался Тоха, чтобы приложиться к своим бутылкам – не ведомо. Много.

А ветрище поднялся! Резкий – бил в лицо жесткими мороженными иглами, с силой втыкая их в кожу, словно в швейную подушечку. Руки мерзли, и глаза застилал сизый туман. Тупость наваливалась на усталое тело, и ноги переставали слушаться. Мужик брел, спотыкаясь на каждом шагу, и хрипло разговаривал со своей ношей.

– Гулька, дура! Скоро весна, поедем мы с тобою в Крым, в плацкарте, как люди. Продам люминий – и поедем. Там останемся. Буду тебя в море купать да в песочке валять. Девочка моя!

– Надо еще выпить, – Тоха опять вытащил бутылку и опять приложился к ней. Коньяк кончился, он пнул бутылку ногой, споткнулся и упал в сугроб. Выгребаясь из снега, он никак не мог встать – не слушались ни ноги, ни руки. Голова моталась и страшно хотелось спать, – Ничего, доползу, Гулька, мать твою!

– Хули ты в морду сыплешь, сука, – ругал он морозную крупу, роняя себя в очередной раз на дорогу, – дойду, бля, дойду! Хера вам!!! Портнов еще Гульку свою в Крым отвезет, ананасами кормить...

Наверное, было уже часов пять утра, когда он, придавленный рюкзаком, пал в сених своего дома. Пьяный до безумия, усталый до бесчувствия...

Он не знал, что его Гуля, его мяся, его девочка лежит сейчас в двухстах метрах от дома, свалившись с саней, и тихо спит, чтобы никогда больше не проснуться, замерзнув на стылом ветру в жестоком декабрьском морозе.

Он не знал, что потеряв ее на дороге, он потерял все. Потерял свою жизнь, свою надежду и лучше бы ему никогда не просыпаться. Ибо это было совершенно незачем и не для чего... Ничего исправить нельзя. Ни в жизни отдельного человека, ни в этом долбаном мире.

* * *

Черное ухо грязной камеры слышало много чего. Туда кричали и от боли, и от злобы, и от ненависти, и от голода, и от страха. Но никогда в это ухо не кричали так про Крым, ананасы и Новый Год, требуя от Господа Бога прощения и еще одну, новую жизнь.

– Гуля! Где ты, мяся моя!

Жопик (шоферская байка)

Было это давно, а, вроде, как вчера. В восемьдесят восьмом, по-моему, еще при социализме.

Дружок мой, Витька, выпросил у старшего брата старенький "Запорожец" или как их тогда ласково называли "Жопик" – синенький такой, чуть мятый, но живой... Выпросил, да и зажил. Привык как бы... К чужому-то быстро привыкаешь.

Похрюкивал наш "Жопик", попердывал, но ехал... Девяносто по углическому «автобану», только так!

Мы на нем месяца два рассекали: осень, рыбалка, грибы, а мы р-раз и в лес. Не пове-ришь, проходимость такая, что до самого гриба доезжали, тапок не замочив. А застрянет, толкаем, чего нам двум бугаям – двадцатипятилетним.

Эх! Силенка-то была не та, что теперь! Хорошая была машиненка, дерьмо конечно, но хорошая...

Витек мне как-то и говорит:

– А поехали-ка, дядя Вася, на дальняк. В Вологду смотаемся. Двести километров... Как думаешь, доедет жопик до Вологды или нет?

А чего? Парни мы были заводные тогда. Доедет, говорю, отчего ж не доедет-то, поехали. И повод нашелся. Контрольные в институт отвезти – мы тогда в юридическом учились, на четвертом курсе.

Утром сели и поехали. Холмогорскую дорогу знаешь. Дорога, конечно, не сахар, – она и сейчас такая же. Но едем, блин, и даже кайф пытаемся испытать! Погода хорошая, конец октября, тепло более-менее, и солнышко ласково светит. Красота!

К двенадцати причалили к институту. Деканат на обеде. К часу сдали контрольные. Домой, Витек?

И тут он молвит:

– А давай, братан, в Череповец съездим? – И жалобно так на меня смотрит. Знает, собака, что не устою я перед его просьбой. Ведь в Череповце девушка у него живет, Ирка. Красавица, умница, отличница. В суде работает. Знает Витька, что не смогу я ему отказать, потому что когда-то, на втором курсе, сам же их и познакомил. И с тех пор сохнет парень по ней, и снится она ему в эротических снах. Вроде как крестный я получаюсь.

– А сколько до Черепе-то?

– Да, рядом тут – мнется Витек.

– Ну, сколько? Пятьдесят-семьдесят?

– Ну... где-то так.

Ну, говорю, поехали. – Только учти, мне утром к семи на завод.

Выехали за город, на указателе – сто тридцать километров. Обманул, зараза! Так как возвращаться – дурная примета, едем дальше. Жопик наш слегка всхлипывать начал. Перегрелся. Постояли – остудили. Витек даже попонкой его обмахивал, как веером. Лебезил, вину заглаживал.

Часам к четырем прибыли в Череповец. А погода тем временем стала портиться, дождь зарядил. С трудом нашли Иркин дом, и наугад – звяк в дверь! Что сотовый, что сотовый?! Да не было тогда ни сотовых, ни вообще ничего не было. Даже целых телефонов-автоматов не было. При коммунизме ведь жили, молодой человек...

А Ирка-то и дома! Обрадовалась вроде, хотя и совершенно обалдела. Гости, блин, незванные да неожиданные. Ведь у них тогда с Витькой только ухаживания были и больше ничего. Вроде и не целовались еще ни разу.

Посидели, попили чайку, поболтали. Времени полседьмого, за окном темнота. Толкаю Витьку ногой – поехали, гад, домой. Еще триста пятьдесят километров впереди. А тот размяк, чаю натрескавшись, мурлыкает котом на диване. И Ирка такая добрая, чуть ли не оставайтесь. А мне утром на работу – я тогда на моторном испытателем пахал. Не забалуешь!

С трудом оторвал уже очень теплого напарника и силком усадил за руль. Ирка вышла нас проводить и даже чмокнула Витюху куда-то между глаз. Он и так-то особым умом не блистал, а тут совсем стал розовым, мякнющим и полностью поглупевшим. Сдуру поехал не в ту сторону. Долго мы еще по Черепу блудили, пока на вологодскую трассу не выехали.

А погода все хуже и хуже. Ветрище, дождь хлещет, холодно стало до жути. Печка в жопике бензиновая, жрет топлива столько, что лучше не надо. Печку не включишь – стекла потеют. Надо окна открывать, а там снег с дождем. Вот так вот и отправились в обратное путешествие.

Отъехали от Череповца километров шестьдесят. Чую – дворники уже скрежетать стали. Видимость упала. Дороги почти не видно, да еще Витек в розовых мечтах витает.

Прикуриваю, чуть отвлекся, а он вдруг по тормозам как даст!

И тут нас понесло влево. Тормоза у жопика конечно были, но хреновые. Мягко говоря, со смещением. Одно колесо завсегда лучше другого тормозило, вот нас и понесло на мокрой-то дороге. Понесло-понесло, да и принесло к обочине. Как потом поняли, Витька прохлопал аварийный поворот от строящегося моста и на полной скорости к этому мосту и приехал. Увидел впереди знаки да бетонные блоки – на тормоз, тормоз – влево, и мы – кирдык с обрыва!

Как мы летели, где была жопа, ноги и голова, и чьими они были – я соображал неважно. Мысли сожаления о прожитой жизни почему-то в голову не пришли. Пришло, помню, только одно: е* твою мать! А поскольку кувыркались мы с обрыва раза три, три раза это дело и пришло. А потом еще четвертый раз я это сказал, когда мы, приземлившись в придорожное болото, спешно покидали нашего верного друга жопика.

Тот, несчастный, лежал на боку. Сдуру ли, со страху ли, но первым делом мы, не сговариваясь, со страшным гаканьем и криком поставили его на колеса. Как нам это удалось – мы потом долго удивлялись. По пояс в воде, в грязи, одуревшие от падения. Но мы сделали это! Может, подспудно понимая, что кроме как на машину, нам надеяться больше не на кого и не что. Жопик с хлюпаньем упал на колеса и тихо погрузился до самых окошек в болотину.

Сидя на кочке у болота, полностью мокрые, соскребая с себя тину и ил, мы вдруг заржали. Видуха у обоих! Пленные немцы под Сталинградом отдыхают... А тут еще Витек у меня из-за шиворота сигарету достает (ту, что я прикуривал) и брык с кочки в жижу. Тут уж, понимаешь, – не смех – ржач истерический. А голос-то у дружбака – как у архиерея! Такое раздалось над болотом – упыри попрытались!

Из повреждений – ссадины на конечностях, да по шишке на лбах. Башки-то молодые, крепкие. Чего там в них? Одна кость. Мозгов-то еще не выросло. Три раза кувырком – и ни хрена!

Пошли. На дорогу выбрались. Стали останавливать грузовики. Надеялись, вытянут нас. Идиоты, блин! Ну, ты бы остановился? В чистом поле, в темнотище – два грязных мудака машут руками. Да, водилы при виде нас только газу поддавали.

И вот тут – встреча с первым хорошим человеком. Одна машина таки остановилась! МАЗ с прицепом с нашими ярославскими номерами. Откуда тут в глухомани? Вышел мужик – чего тут у вас? Мы объясняем, подходим к обрыву и мать ты моя...!!! Вид сверху оказался настолько безнадежным, что мужик, покрутив у виска пальцем, только посмеялся.

Ужас! Отсюда, с высоты пятнадцати метров, жопик казался навсегда похороненным в грязном болоте. Достать его не было никакой возможности. Водила позвал нас с собой

в Ярик, но мы мужественно отказались и решили остаться с нашим железным другом и разделить его участь.

– Ищите «Кировец», – на прощание сказал нам мужик и уехал.

Вдали, с дороги километрах в четырех, просматривались огоньки какой-то деревни. Мы решили пойти туда, наудачу. Вдруг, у какого тракториста «Кировец» на подворье лиш-ний? Если задуматься – полный маразм! Но если хочешь чего-нибудь сделать – делай!

Всю дорогу пели песни, потом бежали, чтоб согреться. Температура резко падала, ветер еще более усилился, по щекам стала хлестать крупа. Времени уже было полдесятого.

Дошли. И, о счастье, обнаружили целый тракторный парк. Видно, наткнулись на цен-тральную усадьбу колхоза. Зашли к сторожике. Объяснились. Она говорит: «Э, касатики! Никто вам не поможет, кроме Колюхи Некрасова. Он в общаге живет, прям у памятника Ильичу, там спросите».

Колхозная общага, мягко говоря, несколько отличается от общаги холостых моторщи-ков или пэтэушников. Вонь, пьяные рожи, грязища, любопытные дети и старухи, но мы не дрогнули и нашли нужную комнату.

Стучали-стучали, никто не отзывается. Вошли. На грязной постели спит пьяный, тощий мужик в трусах и голубой майке.

– Коля, вставай!

– А! Что, кто...!!! Бля, ох*ели!!! – И тому подобное. Вид звериный, небритый, руки грязнущие.

Колян долго сидел на постели и входил в себя. Думали, пи*дец, не войдет! А вот и вошел!

Стали объяснять. Смотрим – понимает нас, паразит. Даже вопросы задает. Неужто? Боже, неужели ты есть! Смотрит на нас, городских фраеров – все в джинсе да в коже. И вдруг ехидно так спрашивает: а, машина-то какая? А мы – Жопик! И тут он неожиданно расплыва-ется в какой-то нежной улыбке и без слов тянется к рубашке. Оп-па! Нашли волшебное слово!

Глядим, он молча, тихо улыбаясь, уже натягивает брюки, ищет сапоги, фуфайку. Пошли, что ли? Мы не верим счастьем. Но вдруг, Некрасов в дверях останавливается.

– Ты чего, друг?

– Надо к Михалне зайти, к завбазой нашей. Разрешения спросить на выезд Думаем, здесь точно не повезет. Но ничего подобного. Не сговариваясь, залепетали свой "сим сала-бим". Объяснили Михалне про жопик, она сочувственно на нас посмотрела и милостиво разрешила Некрасову выезд.

Тра-та-та, тра-та-та.... Вот это машина – целинный трактор «Кировец»! Катим к дороге, заезжаем в болото, где затоплен наш друг. Машина орет и месит грязь, два раза чуть не застряли, но пробились таки к утопленнику. Я спрыгиваю из кабины, хватаю трос и с головой ухожу под воду в яму, что накопал до этого «Кировец» своими огромными коле-сами. С головой!!!

Вынырнул, подцепили, пошло-поехало. Тянем, бедолагу, по кювету метров триста, а там выезд на дорогу. Вытаскиваем и открываем двери – вода хлынула как из брандспойта. Но нам уже все равно, машина спасена, мы прыгаем от счастья, и тракторист веселится вместе с нами.

Друг Витька сует Некрасову пятьдесят рублей. В те времена – это были большие деньги. Но мы дали бы и больше, да не было. Но тот машет руками и денег не берет. Пойдем, говорит, попробуем завести.

Суем ключ (!) – дрынть,еще дрынть... И вдруг: трах-тарарах-трах-тарарах!!! Завелся, поросенок, завелся!!! Радость ты наша жопная!

Крыша вдавлена вниз, оба стекла вылетели, а переднее – разбилось напрочь, помяты оба капота, крылья, и оторван с мясом глушак. Ну, да не беда!

Прощаемся с трактористом. От души обнимаемся. Витька тихо сует ему в карман деньги, отдаем последние чудом сухие сигареты и с грохотом и свистом уезжаем с места нашего позора.

Оглядываюсь назад, а Некрасов нас крестит. Ей-Богу! Дрогнуло тогда у меня что-то внутри, видно душа... Спасибо тебе, Божий человек!

Уже ночь – двенадцать с лишним. Ехать холодно. Выжали чехлы с машины, какие-то попонки с сидений намотали на себя. На задней полке валялась белая милицейская фуражка. Я надел на голову. Обмотал руки тряпками, чтобы держать заднее целое стекло вместо переднего – оно по размеру меньше значительно, а по-иному – никак. Жопик без выхлопной трубы рванул еще лучше прежнего. Мы и раньше подозревали, что лишняя она ему.

Витька сидит, башку нагнул, потому что крыша смята, а я стекло держу – несемся! Мимо вологодского поста ГАИ – с песнями. Никто не остановил. Пожалел нас Бог, ибо пидараснее вологодских гаишников ничего еще не придумано.

К Грязовцу подъезжаем – бензин кончается. На заправку. Нет бензина.

– Девушка, помогай, сдохнем ведь!

– На чем вы?

– На жопике (волшебное слово!).

– Поезжайте на другой конец городка – там есть, – я позвоню.

Едем – есть бензин! Слава Богу! Вперед!

А погода бушует, ветрище – ураган, только разгонишься – машину сносит с дороги. Фары еле светят... И тут, е-мое! Поперек дороги – поваленная ель.

Старый сценарий: Витька резко по педали, машина тормозит, едет вбок и мы опять летим в кювет. Тут мне стало уже просто смешно. Не истерически уже, – психиатрически. Вот вам – снаряд в одну воронку! Останавливаемся у кромки кювета в двух сантиметрах. Крестимся. Истово и без балды.

Едем дальше. Рук уже не чуем. Сквозь щель в лобового проема в морду сечет дождь с ледяной крупой. Через каждые полчаса встаем, руки в штаны, греем. Синие уже. Витек стал сдавать, клюет за рулем. Спасибо, что мокрому на морозе не важно спится.

Мама! Караул! Когда все это кончится?

Люди уже без сил, а жопик прет и прет без сбоев. Видно, благодарит нас за то, что мы его не бросили.

В город въехали торжественно в шесть ноль пять утра. Витька довез меня до дому и поехал к себе роботом-автопилотом. Говорить мы уже не могли. Рты слов просто не выговаривали.

В семь я пришел на работу с такой красной рожей и глазами-щелками, что мастер долго ходил вокруг меня и прюнюхивался, а потом обозвал сутрапьяном и сказал, что от меня этого не ожидал. А я, испытав один мотор, позорно заснул в курилке на трехногой табуретке.

Только потом мы узнали, что в эту ночь наши области посетил ураган, и было передано штормовое предупреждение, но радио в нашем жопике никогда не было и испугать нас было некому.

И еще.

Тому, кто ничего не боится – всегда хорошие люди навстречу попадают.

Регистратор

Сегодня был трудный день. Я пытаюсь заснуть. Верчусь на четырех составленных стульях, укрываясь «тревожным» бушлатом с надписью «Прокуратура России». Он пропах бензином, пороховой гарью, свежей и не очень кровью, трупной вонью, парами криминалистического йода, формалином, алкоголем и гарью – особой смесью ароматов, что всегда витают рядом со смертью.

Меня не беспокоит это запах – я давно к этому привык. Он уже стал частью меня, замotanного и угрюмого следователя облпрокуратуры, вынужденного коротать ночь на дежурстве прямо в служебном кабинете. И это еще хорошо, что не на топчане в проблеванной дежурке какого-нибудь сельского райотдела милиции. Все-таки – «дома». А дома и дерьмо пахнет приятнее.

Три убийства за ночь – это уже слишком. Снова ожили бандиты. Второй эшелон. Первые уже угробили друг друга еще в девяносто пятом.

Мои тренированные нервы и желудок на последнем трупе начинают мелко подрагивать – от психической дерготни, от необходимости командовать уставшими, сонными операми, от тупой процессуальной писанины, от дуршлаггов простреленных тел и машин, от влажного запаха крови и вида человеческих мозгов. От необходимости принимать решения, которых не одобряешь, от нудных допросов очевидцев, от своих наездов на перепуганных людей, на собственные пинки и звонки в спящие двери подъездов и квартир.

Хочется жрать, садится голос от криков и споров со штабным ментовским начальством, от бесчисленных сигарет и постоянной сухости во рту. Хочется замолчать и больше никогда и ни с кем не разговаривать. И еще оглохнуть. А еще лучше бы ослепнуть. И уж совсем хорошо – схватиться за бок, повалиться на кровавый бандитский труп и мгновенно сдохнуть от разрыва сердца.

Я – обычный человек в темной несвежей рубашке с тощим галстуком, в потертом пиджаке, из кармана которого торчит погрызенная шариковая ручка. Мне тридцать пять лет, и вся моя жизнь – служба. У меня тусклые глаза, профессиональный «ментовский» взгляд. Такой неизменно появляется у нашей братии на третий год работы – холодный и совершенно пустой. В нем ничего невозможно прочесть – ни злобы, ни жалости, ни сострадания. Никаких эмоций. Обычному, нормальному человеку, глядя в такие глаза, становится страшно – перед ним говорящая машина, робот-полицейский, запрограммированный зомби. Глаза как тусклые фары грузовика. А что можно увидеть в погасших фарах? – Ничего.

Нравится мне работать следователем или нет? Наверное, все-таки да. И дело не во власти – я совершенно не умею извлекать из нее хоть какую-нибудь пользу для себя. Нет, здесь другое. Постоянно прикасаясь к смерти, я, вероятно, острее чувствую жизнь. Она очень разная. Никогда не знаешь, что преподнесет тебе день. Сюрпризы за сюрпризом. Отсиживать жопу за столом или за пульманом, завинчивать одну и ту же гайку на конвейере – согласись, скучно. А здесь – все реально, все до края, все до последней точки. Без сюсюканий и романтического флера, без чистых манжеток и белых салфеток. Без угодливого вранья и политесов.

Это очень похоже на войну. Только что текла размеренная жизнь и вдруг безумной гильотиной падает смерть. Палач пьян и гвоздит своим топором, тупо тая по земле без всяческой системы.

Мы знаем, что смерть обязательно наступит, но никогда не бываем к ней готовы.

Человек поужинал в своей шикарной квартире, выпил дорогого коньяку, потискал милых детей и похлопал по попке чуть пополневшую жену: «Я вернусь, дружок, не позже одиннадцати». Отрывая дверь, человек подумал о завтрашнем дне, о том, что скоро День

рождения любовницы и Новый год... И вот, выйдя из квартиры, он получил пулю в затылок – киллер. И завтрашний день для него так и не настал.

Он лежит еще совершенно теплый, в дорогом пальто, в отглаженной одежде. Красивый галстук на шее и небрежно расстегнута верхняя пуговка рубашки, начищены до блеска ботинки и в кармане ключи от черного «Вольво». Все вроде нормально, только маленькая-маленькая слепая дырочка в голове из пистолета системы «Вальтер».

Человек уже мертвый, но еще не понимает этого. Смотрит на меня снизу, чуть прищурясь, словно я – Господь Бог с солнечным кругом над головой, и не верит, что все это уже навсегда. И ему уже не нужны ни ботинки, ни галстук, ни запонки, ни ключи, ни коньяк. И это холеное, пахнущее лосьоном тело уже не его. Оно безнадежно испорчено, хоть он еще не может понять в каком конкретно месте и насколько серьезна поломка. Утекающая душа еще верит в то, что все можно починить, исправить, заменить детальку или вдохнуть жизнь...

Но я – не Господь Бог, и нимба у меня нет. Это просто подъездная лампочка у меня над головой. Если смотреть, как убиенный, с пола, – я, наверное, огромен и велик. Громада, человек-гора... Только вот помочь я ему ничем не могу. И вообще никому не могу помочь. Ни его детям, ни жене, ни любовнице. Могу просто найти убийцу (и это, кстати, будет большой удачей), но кому это надо-то? Чем это поможет человеческому горю? Ничем, я вам клянусь. Ничем это никому не поможет. Нормальный человек не может испытывать искренней радости или удовлетворения от кровавой мести, от приговора суда «четыренадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима». И что? Легче стало? Не смешно?

Тогда зачем? Что я делаю и чем, собственно, занимаюсь? Что делает целая армия подобных мне людей?

Я – регистратор. Не коллежский, конечно. Регистратор человеческого горя. Я пересчитываю трупы, заносу их в гробсбухи, нахожу убийц и тоже заносу в гробсбухи. Их убивают или надолго убирают с глаз (убивая медленно) и тоже регистрируют. От количества выловленных убийц ничего не зависит. Сколько бы их не ловили – нарождаются новые. Горя и зла в мире должно быть ровно столько, сколько отмерено Богом, чтобы радость и добро не потеряли своей красоты и привлекательности. Иначе к чему стремиться?

На жестких стульях спать неудобно. Под головой – армейская зимняя шапка и старый комментарий к УПК. Старые стулья качаются от каждого моего движения, жалобно скрипят и ноют. Я смотрю в потолок – на нем полосы света от уличного фонаря и длинная змея какого-то вьюна, что растит четвертый год мой «сокамерник» Серега. Причудливые тени листьев, словно собачьи уши, – наострены и чутко слушают тишину осенней ночи. Они делают вид, что охраняют мой сон. Сон, который витает вокруг уставшей головы и никак не хочет приходить. Наверное, он просто не может найти заветную дырочку в моей броне, в защите от мира, в моем лакированном футляре, чтобы впорхнуть туда легкой бабочкой и ласково погладить крылышками мои мозги.

Четыре часа ночи. Вызовов больше не будет. Дело к утру, а утром люди менее агрессивны, они умиротворены надеждами нового дня, им хочется спать. Эмоции притупляются. Статистика преступлений и наука криминология дают точную временную картину греха. Грешат люди, в основном, вечерами и ранними ночами. Может, хватит, а? Четвертого убийства мне не пережить.

Зло, хочешь ты этого или нет, впитывается в любого, даже самого крутого броненосца. И когда оно концентрируется, как сегодня, оно способно пробить защитный футляр и тогда этот «гробик» лопается. За ним срыв – выплеск сильнейших эмоций.

Ненависть. На все: на мир, на свою регистрационную сущность, на невозможность изменить этот гребаный людской род. Она с шумом вырывается наружу, оставляя за собой огромную дыру.

И в нее немедленно входит все дерьмо этого мира. Здесь и сейчас – получите! От потерпевших – слезы, нестерпимую боль, животный страх, ощущение одиночества, остроту потери. И еще получите! От убийц – снова мерзкий страх и липкую теплую слизь – это кровь или лимфа. Она елозит под пальцами, скрипит, от нее хочется отмыться, но это невозможно – она прирастает к тебе и ты уже грязен, как сливная труба кухонной раковины, по тебе течет жирный, вонючий пот и бешено бьется в горле сердце... И ты ждешь, ждешь, ждешь расплаты за свое ужасное действие, пусть ты даже ни в чем и не виноват. Но ты впустил – теперь молись Господу Богу, чтобы все это вынести.

И, как говорится, и ночью, при луне тебе уже нет покоя. Теперь его никогда не будет: ты стал другим – не совсем человеком. Ты походишь на разваливающегося по кускам живого еще мертвеца, и тебя постоянно тошнит от собственного могильного запаха.

Живи, человек. Живи всегда, люби людей, не мешай другим. И не убий! Ибо каждый убитый тобой – это часть тебя самого. И кровь твоя смешана с кровью миллиардов других людей в большом Божьем котелке. Он раздал ее по ложечке каждому, он причастил нас не к «великому себе» – друг к другу. Чтобы мы поняли свою одинаковость, свое родство, свою цельность.

Зимняя шапка шершавой мягкостью вжалась в щеку, и я неожиданно заснул. Бабочка сна полетела по просторам моей уставшей головы и тихо запела свою песню. Я видел эту странную планету – желтую, с изрезанными песчаными равнинами, пологими холмами. Красное небо багровело закатом. А бабочка летела и летела, кружась в таинственном танце, и пела нежную песню, призывая рассветное утро. Я знал, что это – моя планета, это мой дом, это родина, рай...

А это были просто мои мозги. В которые с визгом тысячи истребителей врезалась трель телефонного звонка.

Четвертый.

Помоги мне, Господи, не сойти сегодня с ума...

Стокгольмский синдром

– Егор, Егор!! Это ты? – женский голос дрожал на том конце трубки. Он был страшно знаком, но я не мог сразу вспомнить кто это. Почему-то заволновался, а сердце испуганно задрожало и затुकало в груди громко и часто, – Егорушка, это я, Татьяна, Таня Иванова, помнишь? Я звоню из Лондона.

– Таня? – просипел я в трубку вмиг осевшим от волнения голосом.

– Егор, милый, я нашла тебя! – она кричала и кричала, – Егорка, Егор...

– Таня, Танька, как ты? Откуда? – я вскочил со своего рабочего кресла и лихорадочно начал открывать окно в офисе и что-то говорил, говорил....

Мне вдруг стало трудно дышать, и мысли мои вспенились пузырями памяти, словно вскипевшие от той невиданной страстью, разорвавшейся когда-то, словно бомба, и похоронившей все мои прежние, традиционные представления об отношениях полов.

Я вспомнил. Я вспомнил все: от ужасного своей изощренной жестокостью начала и грустного, романтического окончания. Патологическая любовь. Любовь жертвы к своему палачу, любовь палача к надломленной кукле, в которую он превратил надменную, гордую красавицу. Надрыв, страсть, боль... Жуткая смесь из профессионального садизма и безумной жажды рабства, из жалости и человеческого всепрощения, из ненависти и порядочности. Все то, что психиатры называют стокгольмским синдромом.

Я вспомнил. Вспомнил, как все начиналось, вспомнил все...

Как герой Шварценеггера под воздействием гипноза вспомнил далекую планету Марс.

* * *

– Э-эй! Подруга! – я громко хлопнул ладонью по столу, – Просыпайся давай! Хватит в эротических грезах летать. Начнем все сначала.

Она вздрогнула и резко подняла свою породистую голову. Пышные, распущенные, чуть завитые волосы дрогнули вместе с ней и открыли печальное лицо. Очень женское лицо. Гордое, с прямым носом, высоко поднятыми скулами и сочными мягкими губами. На меня смотрели красивые серые глаза, и в них было горе и страх.

Там было и еще что-то. Впрочем, я знал что это. В них была невозможность перейти порог нравственности, за которым приходит спасение себя физического и поражение своего идеального сознания. Тут ты еще человек, а за «тут» – предатель и вечный раб.

Я играл. Привычно и буднично играл, потому что вся прошлая и нынешняя жизнь моя – игра в человечков. Пойманные мною человечки – вырваны из другого мира, вырваны моей жадной когтистой лапой существа, живущего на другой стороне Великого Зеркала. Я их поймал потому, что они либо чем-то нарушили стройный порядок бытия в резервации, либо знают о том, кто его нарушил, либо просто пробежали мимо и подвернулись под руку.

Татьяна Иванова относилась ко второй категории. И, значит, по нашим неписанным законам, имела полное право подвергнуться любому испытанию.

– Когда ты познакомилась с Ковтуном? Где? Кто тебя с ним познакомил?

– Я же уже говорила вам много раз. Вы записывали в протоколы.

– Ничего, с тебя не убудет. Расскажешь еще. А протоколы..., – тут я взял их со стола, пристукнул стопочкой и на ее глазах разорвал, – вот эту вот хрень твою, вот эту вот «траля-ля» мне не жалко. Будешь рассказывать до бесконечности, пока язык не одеревенеет или пока я правды не услышу.

– Вы не имеете права, – она в сотый раз пролепетала эту фразу, но уже как-то неуверенно.

– Вот, блин, умные все стали, а! Право, долг... А у тебя было право на взяточные денежки шубу покупать, туфли, бельишко, а? Покупали – веселились, как поймали – прослезались. Теперь, Таня, у тебя только долг остался. Долг правильно отвечать на вопросы. И ты его все равно исполнишь. Хочешь ты этого или нет.

– Я вам уже все ответила. Мы встретились с Николаем Ковтуном на презентации нового модельного агентства Дины Огневой. Потанцевали, обменялись телефонами, потом он позвонил, и мы стали встречаться.

– Кто вас познакомил?

– Никто.

– Врешь. Все мне врешь! Даже здесь врешь. Чего ты боишься-то? Я и так знаю, кто вас познакомил. Евгений Задорнов, так?

Она хлопнула ресницами и опустила голову. Надо давить дальше.

– Смотри на меня, дура, смотри сюда. Я с тобой уже три часа потерял. Три часа из жизни следователя по особо важным делам стоят дорого. За каждый час даром потерянного времени ты заплатишь мне годом исправительной колонии. Ты знаешь мой единственный вопрос: где эти гребаные деньги, что передала тебе Ирина Задорнова для Ковтуна четырнадцатого февраля в пятнадцать тридцать? – Я знаю все... Все уже давно раскололись. Ты одна тут сидишь, как Аленушка на камне, и целочку строишь из себя. Где они сейчас, дура?! Куда ты их дела?!!! – все это было сказано тихим, «душевным» голосом

Затем я резко и громко ударил по столу ладонью. Контраст.

Жертва вздрогнула и откинулась назад. Каскад волос взрывом взметнулся ввысь и в стороны. Глаза прожгли меня ненавистью и страхом.

Боится. Боится до дрожи в коленях, зубами стучит от страха, но держится.

Я знаю, что ее держит. Знаю, потому что и меня в критических ситуациях удерживает то же самое. Это называется порядочность. Врожденная или приобретенная – не знаю. И знаю, что это очень страшная преграда для того, чтобы предать, предать пусть даже уже давно предавшего тебя.

Татьяна не может рассказать и открыть необходимую мне «тайну золотого ключика» – где хранится часть взятки, принадлежащая майору Коле Ковтуну – семь тысяч долларов из двадцати пяти, полученных им и еще двумя налоговыми полицейскими у нефтяного перекупщика Скуфина при посредничестве Евгения Задорнова? Ну, не может, потому что это – нехорошо, это – непорядочно, нечестно. Потому что с Николаем она была связана.

Чем? А чем связывает жизнь женатого мужчину и одинокую женщину. Его – то я знаю чем: красивая женщина, бывшая модель, по-своему добрая и наивная. Противоположность не следящей за собой, мятой провинциалке-жене со съехавшим вниз лицом в свои тридцать один.

А ее? Ее-то чем взял этот лысый пентюх, бывший военный финансист? – Мешок мешком, причем с дерьмом, трус и подлец. Неужели она этого не заметила за три недели знакомства?

Я этого «матроса» расколол ровно за пятнадцать минут. Он с готовностью вложил и своих друзей, и Задорнова с женой и ее, добрую подругу – Таньку Иванову. Ту, что сейчас защищала его из последних своих слабых сил, до последней капли пота. Уже три часа полного отказа, и упорство ее было все сильнее и сильнее. Она словно черпала силы из моего бессилия.

Мне нужны были ее признания. Мне нужны были деньги Ковтуна, которые он отдал Татьяне на хранение – коробка из-под конфет «Ассорти», куда Скуфин упаковал взятку. Кто работал в системе – понимает зачем. Это объективные доказательства. Они – вещи материальные. На них есть следы, они совпадают с показаниями, что уже даны, они – предметы, что являются частью объективной стороны уголовного состава взяточничества – преступ-

ления, коим мне приходится заниматься в последнее время уж слишком часто. Чем хуже в стране – тем больше взятки берут чиновники, в том числе и наш брат-мент, налоговый и даже прокурор с судьей.

Почему так? – Черт знает! Чтобы довести все до абсурда? Чтобы стало еще хуже всем, всем, всем? Чтобы обычная русская ненависть к нам и привычное неверие в нас стали еще больше, еще громаднее? Чтобы боялись, чтобы пугали детей? Зачем и куда все идет? Все катится к черту, и страна, где воруют практически все, и где преступники получают индульгенции от того населения, что они обокрали.

Господи, что я делаю? И кому это в сущности надо?

– Хрен с тобой! – я обошел стол и поставил свой стул рядом с ней. Надо было дожимать до конца, до донца, идти до маразма, до подлости, до садизма. Время приближалось к десяти. А после десяти, согласно кодекса, допрашивать людей нельзя, – Давай, подписывай протокол задержания. Я тебя задерживаю, как пособника во взяточничестве, совершенном группой лиц в крупном размере, сопряженном с вымогательством взятки. Вот здесь распишись – и в камеру....

Она невидящими глазами уставилась на заполненный мной бланк протокола задержания.

Я держал этот козырь до конца. Это была крайняя мера. Я имел на это полное и безоговорочное право. Более того, я получил бы и санкцию прокурора на ее дальнейший арест безо всяких проблем. Чего-чего, а санкции по делам о взятках заместитель областного прокурора давал мне без лишних вопросов, и даже не глядя в протоколы. Палки по выявленным фактам коррупции всем нужны. Будет чем отчитываться перед Москвой на генеральских коврах.

Но я не хотел эту красоту, эту женственность и добрую душу сажать в мерзкую тюремную камеру. Такой опыт у меня уже был. Эффект контраста и подсадные свое дело тогда сделали быстро. Только вот осадок от этого остался на всю жизнь. Все вроде было справедливо, а, блин, – несправедливо и подло, хоть убей.

– Что уставилась? Подписывай и шлепай. Теперь ты не свидетель, а подозреваемая, и имеешь право хранить молчание, только, сдается мне, не захочешь его долго хранить.

– Я ничего не понимаю. Тут написано, что я подозреваюсь в совершении преступления. Но я же его не совершала, – она медленно проговаривала слова. – Ничего не совершала. За что?

– За дурость свою! За тупое упрямство! Пиши, вот здесь свою фамилию и вали на нары. – Конвой! – закричал я.

Она сделала попытку вскочить и умоляюще поглядела на меня.

– Сидеть!!! – сделав страшное лицо, я заорал ей в лицо и одновременно пнул в ножку стула. Тот со скрежетом проехал по полу, и она схватилась за край стола. – Сидеть, дура!!! Не рыпайся.

– Как вы со мной разговариваете?! – женщина ойкнула, предприняв слабую попытку протеста.

– А теперь так с тобой разговаривать будут все и всегда. Ты попадаешь в рабство к жутким уродам с замороженной совестью, попадаешь в зависимость от других, и все теперь у тебя будет не по твоему собственному, а по чьему-то извращенному желанию. Ты сейчас в это не до конца веришь. А зря. Вот сейчас, в эту самую минуту, произойдет перелом твоей скучной, налаженной жизни. Ты попадешь в зазеркалье, где все наоборот, все вниз головой и где нет людей, только жабы и злые волшебники. Смотри, сейчас вылетит птичка! Дай-ка мне твои руки...

Я достал из кармана наручники. Стальные зубцы замков, словно хищные зубы, плотно ждали своей жертвы. Татьяна инстинктивно прижала к себе кисти рук.

– Что, страшно? – я издевательски играл замками. Они проваливались с треском вниз в полукольца и возникали вновь с другой стороны. Тресь-тресь-тресь!!! Казалось, зубчики, проскакивающие через стопоры, чавкают и чмокают от предвкушения нового человеческого жертвоприношения. Они – суть несвободы, их щелчок, словно щелчок передернутого затвора в пистолете. После этого – только боль или смерть. Ибо взведенное оружие обязано стрелять, оно предназначено только для этого и больше ни на что не годится.

Женщина смотрела на мою игру, как кролик смотрит в глаза удава. Ее лицо то темнело, то бледнело, обозначились круги под глазами, и я видел, как она устала, как она ошарашена таким концом – ожидаемым, но всегда очень неожиданным. Задвинутое в сторону подсознание вдруг просыпается и визжит дико от нежелания боли, и готово на все, лишь бы не это, лишь бы не тюрьма, не цепи, не грязь, несвобода, боль и холод. Только не это, только не это!

Она отодвинулась от меня еще дальше, но стул уперся в стену, я нависал над ней со своей стальной игрушкой, и выхода у нее не было совершенно. Лак порядочности треснул и пополз с ее лица мелкими чешуйками. Все были против нее, все было против нее. Господи! Что делать?!

А тут еще я. Тихим монотонным голосом я расписывал ей, как ее встретят в тюрьме. Как загонят под нары, как возможно изнасилуют или избыют. Как она будет стучать в дверь, а ей никто не откроет, а если и откроет, то для того, чтобы ударить дубинкой по ягодицам и отшвырнуть к деревянному настилу, где ухмыляются подсадные, грязные шлюхи, протягивающие свои мерзкие черные пальцы к ее роскошным волосам, еще пахнущим дорогим шампунем.

Я тихо и нудно рассказывал ей, как ее четырнадцатилетняя красавица-дочь, вместе с бабулей сегодня начнут искать ее по знакомым, по моргам, по больницам и не найдут. А когда найдут – будут канючить у меня свидание, а я им его не дам. А потом вдруг дам, и они поплетутся в толпе родственников арестантов, медленно продвигаясь к заветному окошку, чтобы передать Тане передачку, которую у нее все равно отнимут. Как увидит доченька мать с нечесаной головой, с вытаращенными от страха безумными глазами, в порванной кофточке и со свежим бланшем под глазом. И как она будет рада, что мама променяла ее на дядю Колю Ковтуна, что давно ходит на свободе, успешно вложив всех по первое число.

Вдруг, стул, на котором сидела Татьяна, как-то поехал в сторону, и она повалилась на бок. Я успел ее поймать у самого пола. Женщина была явно без чувств и, скорее всего, не симулировала.

– Твою мать!!! Докукарекался! – я осторожно усадил обратно ее на стул и похлопал по щекам. Сначала открылся один глаз, потом второй. В них было что-то из разряда «опять ты здесь, гад». По красивому лицу разливалась бледность – мертвенная и синюшная, делающая его некрасивым и страшным. «Краше в гроб кладут» – тут же подумал я.

– Простите, – залепетала она еле слышно, – я нечаянно.

Я молча обошел стол и налил ей стакан теплой воды из дежурного графина. Не знаю, может, из него поливали цветок на окне, но ничего другого не было. Татьяна стала пить, стуча зубами по краю стакана, а я вдруг почувствовал себя жалким скотом, издевающимся над хорошим, порядочным человеком, попавшим в наши паучьи сети совершенно случайно и ни в чем, собственно, не виноватым. Что-то рвануло в горле, словно граната, и я не мог произнести ни одного слова. Лишь смотрел на нее и молчал.

Наше молчание длилось минуту или может быть час – я не знаю. Мне было плохо. Очень плохо. Я почувствовал, что раздвоился, и часть меня покинула тело. Она, эта часть, с укором и презрением глядела на меня – злого сухаря в галстук, сидящего перед ворохом бессмысленных бумажек, изобретенных человечеством для издевательств над самим же собой.

Я – чурка, с отрепетированной сталью в глазах, маленький фюрер из зондеркоманды, палач, перерубающий росчерком шариковой ручки за одиннадцать рублей человеческую

судьбу, опуская ее словно топор на шею, и оставляя в прошлом тихую счастливую жизнь, маленькие семейные радости и любовь людей, что имели неосторожность столкнуться со мной на узкой дорожке уголовного процесса. Все – в прошлом. Ибо после меня – только боль, страдания, горе... После меня уже не жизнь – выживание в диких условиях русской несвободы – бессмысленной, безжалостной и холодной.

Татьяна тихо плакала, уткнув лицо в правую ладонь. Ее роскошные волосы вздрагивали, когда приходил новый прилив слез. А я молчал, глядя на упавшие плечи и ее скомканный платок...

И когда молчание разбухло, словно мыльный пузырь, до пределов кабинета, вылезая в открытую форточку и заполняя собой весь засыпающий город, ко мне пришел Бог. Тот Бог, что сказал однажды: да любите же друг друга!!! Любите, идиоты! Ведь любовь – это единственное, ради чего стоит жить!!! Ничто на земле не стоит любви.

Бог шепнул мне на ухо какое-то слово. Я не могу его вспомнить, но стыд и раскаяние схватили меня за сердце, и я понял, что так нельзя. Так *никогда* больше нельзя!!!

Внезапно мне захотелось просто по-мужски, или даже скорее по-отечески, помочь страдающему, утешить слабого, что боролся с огромной чугунной системой целых четыре часа.

Я встал, подошел к ней и положил руку ей на плечо. Она не отстранилась. Я слегка прижал ее голову к себе и стал гладить ее по волосам. Медленно, как ребенка... Я что-то говорил ей, какие-то глупости, типа все заживет, все пройдет, ничего и т.п. Это мерное бормотание и поглаживание, столь неожиданные здесь, в «пыточном» кабинете ФСБ, что-то сломали между нами. Она снова была женщиной, а я снова – мужчиной, обычными людьми, волей случая оказавшихся на одной подводной лодке. Мои глаза привели меня к ее мокрым глазам, что смотрели на меня с мольбой и искренней надеждой на спасение *от меня же самого*.

Я ничего ей не сказал. Поправил ей упавшие на лицо волосы и сел на свое место. Взял ручку и подписал ей пропуск на выход. Молча отдал и тихо сказал что-то типа: «Ты устала. Иди домой. Давай встретимся завтра в десять. Но не здесь, а у меня, в прокуратуре – Собинова, пять. Я буду ждать».

Потом взял ее за руку и вывел из кабинета в коридор. Она пошла как сомнамбула, покорно и спокойно. Там стоял молодой фезсбешник из моей опергруппы, я попросил его вывести ее из здания и передал пропуск. Он вопросительно посмотрел на меня и молча кивнул. Они ушли, а я вернулся. Свалил все бумаги в портфель, оделся и ушел.

По дороге я наслушался злобных упреков начальника оперативного отдела, что, шипя, грозил мне карами из-за освобождения Татьяны, но я смотрел в эти азартные глаза молодого волкодава и молчал. Мне было его жаль. Он еще не знал, что такое Божья любовь. А я уже знал. Когда-нибудь придет время, когда сломается и он. В том, что сегодня сломался я – я не сомневался ни на грош.

Что ж, видимо, я слишком рано начал – с восемнадцати лет. Батальон внутренних войск, потом милиция, потом следственная работа в прокуратуре. И так двадцать один год. Без продыху, без отпусков мертвого узла дежурного галстука-селедки.

Все! Хватит! Я просто человек, никакой я не бог, не дьявол, не фюрер и ни вождь. Я обычный, и я знаю, что я люблю, я знаю, что я ненавижу, я понимаю людей, я чувствую их, я хочу, чтобы они понимали меня. Все просто. И Родина-мать, ради которой мы тут все служим, тупо исполняя чью-то волю, здесь совершенно ни причем. Я не хочу такую Родину-мать, она мне – не мать. Моя мама давно умерла, а эта ... Да ее мачехой-то назвать, и то – много.

Я шел домой. На часах было уже полдвенадцатого. Мартовские лужи разлились, словно моря. В них отражались желтые городские фонари и гаснущие один за другим окна многоэтажек. Я знал, что домой мне идти не хочется, но я шел, потому что привык. Потому

что не только служба, а и вся моя нынешняя жизнь были служением кому-то темному, злему. Может быть дьяволу, что курирует над всеми нашими структурами, крутится вокруг богато уставленного человеческими жертвоприношениями стола? Может быть...

Дом, как и служба, тоже стоял на долге, на обязанностях, на какой-то вине, непонятно перед кем и непонятно за что. Также как и на службе, дома пользовались мною, извлекая из меня пользу, чтобы потом, наверное, выкинуть меня из дому, как опротивевшую обглоданную кость.

Не сомневаясь, что так оно все и будет, что тупая ревность злобно ожидающей дома жены, талдычащей мне о своей великой жертве и называющей меня при этом элегантным словом «убожище», преобразится в ненависть, и она с радостью расстанется со мной. И я буду гол и счастлив, оставив ей все без сожаления. Когда-нибудь это будет неизбежно. Ибо человек рано или поздно обязан посмотреть на себя со стороны и ужаснуться оттого, что жизнь стремительно проходит, причем совершенно не так, как когда-то хотелось.

Я устал жить по приказу. Я устал служить. За всю свою жизнь я не научился хоть немного жить для себя. Я перестал себя уважать, а тот, кто не уважает себя, вряд ли будет уважаем другими.

Да и за что меня можно уважать? За побрякушки за выслугу лет, за почетные грамоты генпрокурора, за большие звезды на погонах, за мою загадочную службу, за чужие тайны, за осведомленность о пороках уважаемых людей?

Ха-ха-ха!!! Самому-то не смешно?

Я какой-то неубедительный для знакомых и друзей. Все знают, что я по должности самый крутой следователь в области. Но никто не верит. В лучшем случае хитро улыбаются и говорят: взятки, наверное, большие берешь? Жена упивается детективными сериалами и книжонками, но ей даже в голову не приходит послушать о работе мужа. Ей заранее не интересно. «Вы все алкаши и блядуны! Какие вы следователи? Вот, смотри в кино, – вот как надо! Не то, что в нашем Мухосранске».

Я никогда и никому не рассказываю о том, что я чувствую на этих допросах, осмотрах и вскрытиях убиенных. Никогда. Потому что мне не хватает слов описать бунт собственной души против всего этого – ненормального и нереального, чуждого обычной жизни настолько, что иногда кажется – так не бывает, и все это голливудские фантазмы.

Если задуматься, то вся моя успешная карьера построена на одном – на жутком чувстве интуиции и чувствительности к другим людям. Кто наградил меня ею – не знаю. Мне бы картины писать или стихи, а мой дар кто-то невидимый применил здесь, в Зазеркалье. Я словно актер могу перевоплощаться в преступников ли, в потерпевших ли, проживая с ними страдания, грязь, злобу, жадность и предательство. Но только сегодня я до конца осознал, как мне больно. Я сгорел – весь без остатка, стремительно, словно кто-то облил меня авиационным бензином.

Когда я пришел домой, там все было как всегда: ругань, истерики и слезы. Да пропади оно все пропадом!

Утро встретило меня солнышком у подъезда, и дорога в контору была легкой. Трамвай весело брякнул что-то типа: здрасьте-нь! Салон его был фантастически пуст, и, выходя на своей остановке, я зажмурился, словно мартовский кот, от предвкушения чего-то необычного, от ожидания чего-то радостного, хоть оснований к этому у меня не было никаких.

Я шлепал по играющим с солнцем лужам, куртка моя была распахнута и весна, казалось, звенела в обоих моих ушах, словно музыка из наушников, переливаясь звуками капли и пением, воспрянувших от стылого сна редких птичек. Укорачивая путь, я свернул между домами и буквально нос к носу столкнулся с ней. С той, с которой вчера началось мое падение или воскрешение.

Татьяна стояла у стены и держала в руках белый пластиковый пакет с какой-то полуголой красоткой на пляже и надписью «Antalia» и смотрела прямо на меня.

Я подошел ближе, зная, что она мне скажет, и не ошибся.

– Здравствуйте, я деньги принесла, – тихо, одними губами сказала она и протянула мне пакет.

Больше ей ничего сказать не удалось, потому что я вдруг неожиданно для себя притянул ее к себе и поцеловал. Жарко, страстно и властно. Так, как целуют наложницу, не спрашивая у нее – хочет она этого или нет.

Меня вообще это не интересовало. Я был повелитель, хозяин, и она хотела быть моей. Я знал это. Знал, и все. Мне ничего не надо было от нее: ни признания, ни раскаяния, ни этих денег, ничего... Я целовал ее так, как не целовал никого уже много-много лет. И мир, и все, что рядом с миром, не имело сейчас никакого значения. Лишь это податливое тело, лишь эти губы – мягкие и нежные, что она мне подставляла, вжимаясь в меня все ближе и ближе. Она отчаянно искала защиты от навалившегося на нее зла и безошибочно нашла ее во мне.

А белый пакет «Antalia» валялся у нас под ногами, как бессмысленный и жалкий символ моей победы и моего поражения.

Женщина! Как многого ты можешь достичь, когда не умничаешь, когда молчишь, когда вспоминаешь, что ты – раба, что ты беспомощна, и сила твоя в слабости твоей. В каждом из нас – злобных псах этого миропорядка, собачьих детях и волчьих внуках живет искривленный ген спасателя-сенбернара. Мы должны помогать, нас искусственно выводили для этого, отбирая самых лучших для охраны, для наказания хищников. Суть наша – защищать. Но мы забыли об этом, ежечасно грызясь на охоте, на боях с дикими зверями, обуреваемые жаждой убийства и манией величия.

И эта женщина достала до самой моей сути. Она знала, что псы не трогают маленьких и слабых. Подсознательно найдя защиту, словно глупый Маугли у теплого собачьего бока, всколыхнула во мне память об основном моем жизненном предназначении.

И она не играла. Неизбежно влюбилась до спазмов в животе от моих контрастов, которые словно маятник раскачали качели женского ожидания.

Чего?

А женщина всегда ожидает счастья – тепла, ласки, нежности, защищенности. Любая, даже самая крутая на вид. Она получила их, пройдя через страдания. Пусть не Христовы, но ведь у каждого свой порог воли и свой порог силы.

Вчера она рассталась с невинностью, с глупыми предрассудками, с девичьими мечтами. Она познала мрак падения, только глянув в бездонный колодец жизненной правды. А потом увидела свет – тот, который видела всегда, но не замечала, не придавая ему особого значения. И вот качели дрогнули и стали вибрировать, дрожать, вонзаясь в небо с диким ведьминским визгом и резко опускаясь вниз, до дна, до унижения, до рабских коленей и разбитого об пол лба. И пошла новая жизнь, где существуют новые удовольствия, новое счастье, и нет в ней места для правил, и нет в ней места для системной упорядоченности и ожидаемых результатов.

Она, эта жизнь, пахнет кровью и потными телами, извивающимися в пароксизмах нереальных страстей, она пахнет порохом из ствола направленного на тебя пистолета и морозным снегом сугроба, в котором ты стоишь голыми ногами, приговоренная к казни. Она, эта жизнь, словно весеннее солнце, глоток долгожданного воздуха для спасенного утопленника, она – чудесное выздоровление после жестокого диагноза врача-онколога.

О, женщина! Твое сердце пылает в паровозной топке, и стальные колеса несут неумолимо твою никчемную жизнь то ли в юность твою, то ли в старость твою. Куда ты несешься, поезд нашей жизни, куда?

* * *

Татьяна позвонила мне через много лет. Давно жила где-то в Англии – фантастически далекой и нереально благополучной.

Она не забыла, потому что такое нельзя забыть. Ведь это был не какой-то там факт или эпизод: произошло событие – яркое и сильное, грубое и нежное, жестокое и справедливое. Падение и спасение одновременно.

Можно назвать это стокгольмским синдромом, можно психологическим опытом, можно и результатом воздействия кнута и пряника... Можно и назвать. Да что толку-то, если сам «воспитатель» так и не смог забыть это, если сам «террорист» сломался и упал именно здесь, у этих ног, для того, чтобы его подняла и спасла именно эта женщина.

Ее выбрал для меня Бог. Он хотел, чтобы эти серые глаза стали зеркалом, где бы отразилась моя пустая, придуманная каким-то неведомым чудовищем жизнь. Придуманная для того, чтобы я забыл, что я человек. Чтобы никогда мне не удалось вспомнить о том, что когда-то и я был на Марсе.

Фас!

Город ожидал нового 1987 года.

Заснеженные ночные улицы мерцали гирляндами и яркими витринами магазинов. Двадцатиградусный мороз щипал носы и уши редких прохожих, оглушительно скрипел под каблуками ботинок и не давал возможности двигаться размеренно и спокойно. Одинокие человеческие фигуры торопливо семенили по тротуарам в свете желтых фонарей, мечтая поскорее добраться до своих теплых квартир.

По улице товарища Урицкого дефилировал ночной патруль в составе двух ментов и одного служебного пса. Отряд был юн и по-новогоднему розовощек. Средний возраст людей составлял двадцать два года, при стаже полтора, собака же была еще моложе – трех лет отроду, и стажа работы не имела.

Милиционеры в своих теплых полушубках напоминали добродушных Дедов Морозов, шкура пса отливала черными подпалинами и лоснилась от сытости и здоровья. Принадлежащие к роду человеческому, как обычно, трепались о девках и о работе, а собачье отродье ревностно поглядывало по сторонам, мечтая кого-нибудь покрепче тяпнуть. Оно с вождением косилось на яловые сапоги старшего патруля, в прошлом сержанта-десантника, и вздыхало от подергиваний поводка, что находился в руках хозяина-кинолога.

Патрулируя освещенный двор длиннющего дома № 30, троица заметила стоящую на ящике темную фигуру, пытающуюся пролезть в форточку окна на первом этаже.

А ведь удача! Настоящее преступление. Не каждый день и даже месяц, вот так запросто, на квартирного вора наткнешься, ох, не каждый....

Пацаны прижались к какой-то замороженной легковушке, но неопытный собак тут же предал и совершенно некстати громко сказал: "Гав!". Вот, паразит мохнатый!

Фигура у окна замерла, ящик под ногами оглушительно хрустнул и "форточник" грохнулся на снег.

– Стой, уважаемый, не ходи никуда! – зачем-то крикнул десантник. Крикнул, от волнения, совсем не по-ментовски, хрипловато, с грабительскими нотками в голосе. Морозное эхо эти нотки еще удвоило.

Мужик немедленно вскочил на ноги и сиганул так, что стало отчетливо ясно – уйдет. Сверкнули пятки, и добыча торпедой начала таять вдали.

У старшего сработал собачий рефлекс: если убегают – надо догнать. Он резво бросился в погоню, но, не пробежав и десяти метров, с ужасом услышал сзади громкую команду «тор-моза»-кинолога: "Фас!"

У служебной собаки тоже, как известно, есть инстинкт. Одна беда – нету мозгов. Спущенный с поводка, пес понял все по-своему, рванул за тем, кто ближе – за десанником. Ибо, какая ему, собственно, разница – кого кусать? А, гражданин начальник?

Все это старший понял мгновенно. Непослушные солдатские извилины включили доселе скрытое воображение. Оно быстро высветило очень нехорошие последствия «фаса» и выдало единственно возможное решение. Необходимо было перегнать жулика, чтобы тот стал первым для пса.

В длинные ноги прямо из сердца попер адреналин, и парень дернул так, как будто за ним гналась банда злобных афганцев, чтоб освежевать и принести в жертву своему Магомету.

Поддав жару, он расстегнул портупею, и все причиндалы: ремни, рацию, фонарь вместе с полушубком, и, не жалея, швырнул перед собакой на снег. Бежать стало гораздо легче, и он прибавил ходу.

Но хитроумное животное не зря служило в милиции. Оно не купилось на брошенный тулуп, и своего ходу не сбавило. Маневр бывшего советского отличника боевой и политической не удался.

Осознав, что обмануть зверя не получится, десантник, хоть и был не слабак, – дрогнул. Он всегда побаивался собак, еще с детства... Ему реально замерещились рваные галифе и огромные дюпели клыков в собственной заднице.

Не желая сдаваться, прямо на ходу, отличник скинул с себя сначала один сапог, а затем другой. Сапоги были для зимы и потому слетели довольно легко. Мент даже пожалел, что не догадался ими запустить в пса.

Молодой пес, споткнувшись на одном из сапог, лишь бодро зарычал, как уссурийский тигр.

На землю полетел китель с погонами сержанта и каким-то чудом державшаяся на голове меховая шапка.

Когда все это попадало в сугробы, милиционер понял, что снимать, кроме штанов уже больше нечего.

Он подумал, было, и о ремне с пистолетом, но решил, что это – его последний шанс, и оружие он ни за что не бросит. В душу стала заползать черная тоска и запоздалое раскаяние в содеянном.

"И кой черт понес меня в эту милицию?" – заныло где-то в животе.

Однако бег стал приносить первые результаты. Мужик, до сих пор стремительно несшийся впереди, вдруг споткнулся и начал сдавать. Расстояние между соперниками неумолимо сокращалось. Мент наддал, пес сзади, хрипя, добавил еще, и кавалькада роскошных идиотов понеслась дальше.

Проезжавшие редкие ночные машины останавливались, прохожие прижимались к витринам. Запаздывавшие домой граждане были вознаграждены редкой возможностью наблюдать и олимпийскую эстафету, и собачьи бега, и милицейский стриптиз одновременно.

Замыкал парад-алле увалень-кинолог, семенящий позади как тренер, с волочащимся позади длинным собачьим поводком и руками, полными подобранной по дороге казенной одежды своего товарища.

Молодость, а также боевая с политической взяли таки свое. У десантника открылось второе дыхание. Могучие, натренированные в горах Афгана ноги, понесли молодое тело вперед, как на крыльях. Голова полностью очистилась от мыслей – ее заполнил вселенской пустотой космический поток. Человек сделался велик, как архангел, и целиком оторвался от этого брэнного мира. В таком вот эйфорическом экстазе парень перегнал своего соперника, уходя все дальше и дальше к горизонту.

Мужик же, со страху несшийся по улице с первой космической скоростью, вдруг с удивлением обнаружил, что рядом с ним бежит какой-то придурок в серо-голубой рубашке. Глаза этого героя были устремлены в неясное пространство, как у марафонского грека после битвы у Фермопил. Псих легко обогнал его и понесся вперед. Вторая космическая!

Ошарашенный «жулик» продолжал бежать, разглядывая удаляющуюся мокрую спину, стриженный затылок и правый носок с дыркой на пятке. Куда ты, брат?

Он в недоумении сбавил ход и через пару секунд спустя обо всем догадался сам. Его ударило по спине, словно доской. Парень грохнулся на снег в полный свой рост. И сразу же крокодилы зубы вцепились ему в зад.

"Мама! Мать!!! Етит твою мать!!!"

Он заорал дурным голосом и завертелся на снегу волчком. Громадный пес с желтыми тигриными глазами рвал его новые джинсы и то, что они прикрывали.

"Все, жопа!!! Не поминай лихом!" – потерпевший тихо завыл. В это время зубы собаки расцепились и он услышал спасительное: "Фу, Вулкан, фу! Сидеть, мой хороший, сидеть, мой мальчик!".

Мужичок лежал на снегу мордой в снег, задницу саднило. Огромная башка пса, не мигая, смотрела, злобно рыча, в глаза. В голове крутились обрывки странного вечера, было и больно, и почему-то идиотски кряхтелось. "Вот те, блин, как ключи-то дома оставлять! И чего побежал? Ничего себе, сходил за хлебушком..."

Десантник очнулся нескоро. Набранная скорость, второе дыхание и связь с космосом увлекли его от места происшествия очень далеко. На сверкающей огнями площади он сделал почетный круг у громадной елки меж вышедших из позднего автобуса людей, а затем унесся прочь, словно кентервильское привидение в дырявых носках.

Прохожие оторопело вздрогнули. Кто-то озорно засвистел: "Ату его!!! Фас! Фас!"...

Слышал ли наш десантник этот "фас" – неведомо. Если слышал, то вполне возможно, что он до сих пор бежит по свету в одной рубашке и носках.

Перед Новым годом чего только не бывает.

Девяносто пятый год

Девяносто пятый год. Вечереет. Осень. На улице унылый нескончаемый дождь. Два следователя по особо важным, приехав с места громкого происшествия, тихо сидят в кабинете облпрокуратуры и пьют водку. Окно приоткрыто, а водка конспиративно перелита в бутылку минералки «Арзик». Коллеги пережевывают только что совершенное заказное убийство генерального директора завода «Хренмаш». Вяло так спорят: им надоели эти бесконечные мокрухи. Они опытные и умудрены опытом. Самый творческий сок – от тридцати трех до сорока. Им не страшно быть пойманными на рабочем месте – прокурор области недавно уехал на совещание к губернатору и вряд ли сегодня вернется в контору.

Расслабленно они вспоминают благие советские времена и стопроцентную раскрываемость убийств. Тогда все было понятно: ворье и убийцы соблюдали хоть какие-то правила игры. Нынче все не то. Беспредел. Полное отсутствие предсказуемости, выброс большой психической энергии, садизм в чистом его проявлении. Как тут применять интеллект и дедукцию, когда отморозки просто так отрубают людям головы и не могут потом объяснить зачем? Какая, на хрен, следственная игра, если у человека пять классов образования, явная социопатия и какая-то там степень дебилности. Все достижения криминалистики сводится к банальным средневековым методам «пальцы в дверь» или «колись, сука, а то счасз в окно выкину, нах!» М-да... Настали денечки, ничего не скажешь. Вся страна ворует и врет, а у ее кривого руля – странная личность с признаками потомственного алкоголизма на лице и с соответствующими этим признакам замашками.

Пьют, философствуют и рассуждают о вечном. А чего не пить? Плакать, что ли, по поводу убиенного сегодня коммерса? – Пожил мужик, покатался на «шестисотом», поелозил проституток по баням... Думал, поди, самый крутой, брутальный мушкетер, мать его! «Ботва» меня боится и трепещет. Я тут царь! Я божество! Захочу – уволю любого, захочу – всех молодых сотрудниц перетрахую, перед тем как зарплату выдать, и еще посмотрю сколько выдать.

Грешил покойник по этой части, грешил. А, может, его за то и пришили? А чего? Самое простое решение, как правило, самое же и верное. Бритва монаха Оккама – великая вещь! «Не умножай, раб Божий, сущностей без надобности». Или просто: не усложняй. Так что, чего теперь егозить? Покойник – не волк, под окном не завоет. Хороший труп завсегда вылезаться должен.

В дверь раздается глухой пинок. – Кто там? – Сто грамм, мля! В кабинет вваливается самолично прокурор области в генеральской форме. Следователи вытягиваются. – Что у вас, дети мои, по делу «Полимаша»? Составляется план следственных мероприятий. Какой, где он? Чего стоите, словно трубы Хатыни? – Так мы это, пишем... – И чего написали? – Вот! Протягивается черновик плана. – Чего ты мне суешь какую-то бумажку? Чтоб через десять минут план был готов. Губернатор, падла, рвет и мечет – дружки они с директором были, вместе по баням блядей жарили. Из Генеральной, чинодралы эти, требуют отчета. А вы? – А мы чо? Трудимся мы, чо... Расследуем...

Разгоряченный, нервный и замученный всем этим ежедневным чиновничьим футболом, генерал хватает со стола бутылку минералки, в которую налита водка, и властно вливает ее содержимое в граненый стакан. Резко, по-гвардейски поднимает локоть руки и лихо опрокидывает в себя содержимое. Следователи полностью трезвеют и бледнеют до синевы. Сейчас этим стаканом кому-то достанется в лоб. Прокурор выпивает водку, ставит стакан на стол и только тут начинает чего-то понимать.

Перебегая с совещания на совещание, он сегодня не обедал. От этого водка живо впитывается в пустой желудок. И генеральское лицо вдруг разглаживается и розовеет. Исте-

ричная начальственная мимика бледного задерганного чиновника сходит на нет. Он молчит с совершенно отсутствующим выражением лица, глядя перед собой в угол обшарпанного кабинета. Там висит плакатик из 50-х годов: пролетарий с лицом а-ля «мой папа ветеран НКВД» отвергающий бутылку с водкой и надписью «Только чай!». Долго молчит. Пауза такая, что Станиславский назвал бы генерала гениальным актером.

Молча наливает еще полстакана. Молча же выпивает. А потом, вдруг расхохотавшись чему-то своему, грозит пролетарию на плакате и уходит вон, чуть пошатнувшись у двери, при этом ничего не сказав закаменевшему личному составу. Слышно как во дворе с визгом колес срывается с места его персональная «Волга».

В кабинете все еще стоит тишина. Напряжение, что так долго сжимало солнечные сплетения бойцов, никак не хочет отпускать. На негнущихся ногах старший идет к сейфу и достает заначенную «взяточную» бутылку коньяку. Оба пьют. Нервно придушенно хихикают.

— Да, достало, видно, батю...

За окном темнеет. Дождь все не кончается. Звенит звонок телефона. Дежурный следователь на выезд! Очередной свежак.

— Ну, я поехал, ты не скучай.

— Удачи тебе, брат!

Зигзаг

Он выплывал из красного тумана, застилавшего глаза и щипавшего веки, медленно, словно поднимался вверх к чистым и недостижимым слоям атмосферы, где сверкает солнце и много-много воздуха. Дыхание его было натужным, грудь, казалось, была стянута жесткими брезентовыми ремнями и застегнута на железную пряжку. Ему хотелось жить и дышать, но он не мог – не хватало сил. Боль, страшным, чудовищным, змеиным клубком угнездившаяся в животе, не давала возможности успокоиться и собраться духом для жизни.

– Господи, я уже умер? – воспаленный от боли мозг Толика спрашивал, – Где я, Боже?

Он хрипел и плакал, слезы текли по щекам и жгли их немилосердным огнем, разум никак не мог сосредоточиться, мысли и воспоминания, едва начав формироваться, вновь проваливались и рассыпались.

– Мальчик совсем, а держится как мужик, – приплывающие откуда-то голоса, глухо отдавались в мозгу, – если до завтра доживет – будет жить. Весь живот парню разворотило, половину кишок вырезали, желудок зашили, про селезенку и желчный уж молчу. Трындец ему, если выживет – инвалид на всю жизнь.

– Не пыхти, может, обойдется еще, молодой же, здоровый. Говорят, не пил – не курил, спортсмен. Выкарабкается, еще будет своей палкой на дороге махать, нас с тобой обирать.

– Ладно, поживем – увидим. Катя, он мучается сильно, вколи ему промедол, но немного, а то загубим безгрешную душу. Парень-то из глухомани Михайловской, там про наркоманов и не слыхали. Не хотелось бы с этого парнишки начинать мрачную статистику.

Голоса засмеялись и уплыли, а боль осталась. Она жрала его изнутри. Почему-то она представлялась ему кошкой, крупной и гладкой, черного цвета с белыми носочками, острые зубки ее разгрызали внутренности мелкими укусами, а своими белыми лапками с острыми коготками, кошка помогала зубкам, мясо уворачивалось, но его настигали и грызли – грызли, мучительно и бесконечно. Что-то укусило его в левую руку, и боль стала потихоньку отступать. Кошка наелась и легла на остатки кишок, приминая их своими мягкими и теплыми боками, помахивая хвостом и облизываясь. Стало хорошо, легко, но он все равно ничего не мог понять из того, что это, где он и что произошло. Сознание вновь не хотело ему подчиняться, заполняясь уже не болью, а тупым безразличием ожидания ее возвращения.

Толик Морозов, старший инспектор ГАИ Михайловского РОВД попал в аварию по собственной глупости. Было это зимой, морозы стояли несильные, около минус десяти. Дороги были оживлены – по зимникам поперли огромные лесовозы, возя лес на новый целлюлозно-бумажный комбинат в соседнем районе, километров за полтораста отсюда.

Огромные «Уралы», с вечно пьяными вахтовиками за рулем, носились по дорогам, не соблюдая не то, что правил дорожного движения, а даже элементарного порядка. Кто быстрее и наглей – тот и прав. В связи с этим у ГАИ зимою забот прибавлялось в несколько раз. Толик со своим младшим инспектором пытался наводить на дорогах хотя бы видимость порядка, заставляя водителей придерживаться правостороннего, а не всестороннего движения. Случались и стычки с наглыми, судимыми в прошлом, шоферами. Это было опасно, потому что разборки иной раз происходили в такой глухомани, где до ближайшей деревни могло быть верст двадцать, а то и больше.

Анатолий Степаныч наконец-то узнал, для чего он семь лет подряд носил в кобуре пистолет. На прошлой неделе, вытаскивая в одиночку из-за руля мертвецки пьяного водителя, перегородившего своим «Уралом» всю дорогу, он получил по спине чувствительный удар монтировкой. Когда Морозов развернулся, то увидел, что перед ним стоит пьянецкий громадный детина, без шапки, с косматой копной нечесаных волос и, играя со стандартной

монтажкой, которая в его наколотых перстнями ручищах казалась не больше гвоздя-двухсотки, требует отдать ему его товарища на поруки.

У Толика вспыхнуло в голове и ужалило осиным жалом самолюбие и, хоть он и понимал, что обострять ситуацию не имеет смысла, быстро, не задумываясь, вынул пистолет и выстрелил в ноги детине. Пуля ударила в лед между громадных валенок, с визгом срикше-тировала и врезалась в крыло автомашины.

Грохот, разнесшийся по окружающему их тихому зимнему лесу, и синий дымок из ствола также сделали свое дело. Детина, не ожидавший ничего подобного, как-то механически бросил монтажку и, упав на колени, положил руки за голову по зековской привычке. Толик даже поразился автоматизму этого незамысловатого действия. Вот как сильно было вколочено в этого пьяного мудилу – вечного сидельца – почтение к оружию! Было видно, что он понимает, для чего оно и что оно может сделать.

Впервые применив оружие, Толик не испугался, не покрылся испариной холодного пота. Ему почему-то показалось это настолько естественным, что никаких угрызений совести и страха он не испытал. Везя их обоих – и пьяного «мертвеца», и «слона в наколках» – в своем УАЗе, Анатолий знал, что не будет шить дураку «сопротивление милиции с насилием», что могло вытянуть лет на пять. Дурак этот сидел смирно, и гаишник дал себе слово, что если довезет его спокойно, сдаст в РОВД лишь за нарушение ПДД и пьяный вид на работе. Все так и произошло.

Сегодня Морозов патрулировал трассу на желтом мотоцикле «Урал» без коляски. Теплый «гаишный» комбинезон на меху, благодаря меховым штанам, не пропускающим холод и позволяющим сидеть по три-четыре часа в сугробе, называемым в народе «спермоубивалка», спасал от мороза. Мотоцикл летел весело, глухо урча своими цилиндрами и трубами. Накатанный гладко зимник, широкий и бесконечный, словно нарочно пробитый в тайге с вековыми деревьями, темными заснеженными елями и огромными соснами, несся под оба колеса мотоцикла со скоростью около ста.

Протекторы жрали слежавшийся до корки снег, проглатывая километр за километром, этого, раскатанного кем-то по тайге, рулона белой скатерти. Анатолий любил мотоцикл – в нем было что-то от коня, норовистого и большого, сильного и страшноватого своей непредсказуемостью.

Мотоцикл – создание смелых и для смелых. Ведь только так можно почувствовать скорость в ее истинном понимании, в ее смертельном для человека обличье. Все остальное не шло ни в какое сравнение с мощным зверем, болтающимся между ног, он был словно воплощение сексуальной мощи, продолжением мужского естества, стремящегося вырваться из-под контроля и вонзиться в дорогу, пробивая себе путь в ней, как в женщине.

Только, в свои почти двадцать семь лет, не совсем точно себе это представлял, потому что – к стыду своему – был еще девственником, но ощущать себя мужчиной, сидя верхом на рвущемся механическом звере, – ощущал весьма сильно. Ну, не повезло парню, что тут поделаешь. Девчонки его интересовали, но их становилось все меньше и меньше, они высказывались замуж, словно лягушки из пруда. Еще немного – и пруд останется пустым, в нем некого будет ловить.

Бобыли в их районе – нормальное явление, девчонок рождалось гораздо меньше, чем пацанов. Кроме того, живя ограниченной тесной общиной, люди маленького изолированного райцентра уже переженились хрен знает на ком, даже двоюродные сестры и братья жили себе нормально. Скоро, наверное, на родных жениться будут. Народ уже частично носил на себе легкие признаки вырождения от кровосмесительных браков, и Морозову это ужасно не нравилось. Не нравились ему и те девчонки и женщины, что были доступны для всех – от этого сквозило изменой и подлостью. Была в такой доступности какая-то грязь,

никак не желавшая прилипнуть к Толику, продолжавшему в душе оставаться добрым и наивным мальчиком с прекрасными идеалами юности.

Выкручивая до упора ручку газа, молодой гаишник несся по пустому зимнику, ощущая под скрытым меховыми штанами задом силу и неумолимую мощь «Урала», влекущую его к пропасти желанной и ожидаемой. Человек на мотоцикле, не боящийся скорости, – потенциальный мертвец. Он висит на ниточках тросика дроссельной заслонки и тросика механизма тормоза. Эти две паутинки – суть его жизни в данный конкретный отрезок времени. Причем ниточка тормоза бесполезна, ибо каждый знает, что торможение на льду – безумная затея. Стало быть, веревочка у Толика – всего одна. Она была словно нерв, протянутый от мозга человека к тупому мозгу железной машины – тоненький и слабый. Прервись эта связь хоть на миг, и все.

«Все» наступило очень скоро. Впереди был поворот, не очень крутой, но очень слепой. Не сбавляя скорости, Анатолий вошел в него по дуге и вдруг (на дороге часто все случается именно вдруг) увидел стоящий полубоком к правой обочине рейсовый автобус ПАЗик. Автобус перекрывал половину дороги, и надо было просто свернуть чуть влево, но из автобуса выходили и переходили дорогу старуха с мальчиком.

Рефлекс сработал раньше мозга: Морозов затормозил, и тут же машина сорвалась в штопор неуправляемого и неумолимого движения бокового юза. Тяжеленный мотоцикл крутануло и бросило на дорогу, переворачивая и давя своими сильными стальными боками одежду человека, его мясо и кости. Руль с такой знакомой и любимой им ручкой «газа» ударил Толю в живот с ужасной силой, и пропоров меховой комбинезон и разорвав брюшину, вошел в человека словно копье, намотав кишки и все остальное на скошенный, стальной, словно кем-то специально заостренный, рулевой рычаг переднего тормоза.

Мотоцикл полетел дальше человека, вытаскивая из него внутренности и растягивая их по снегу, как веревку. Когда движение остановилось, Толик и его мотоцикл представляли собой мать и дитя, соединенные пуповиной. Одна часть ее начиналась в человеке, а другая была намотана на руль железного животного. Мотоцикл был цел и почти невредим, человек же потерял около пяти метров собственных кишок и умирал.

Он бы и умер, если бы не военврач-хирург, находившийся в автобусе, ехавший к старухе матери в деревню Дворики. Именно за его здоровье должен был бы поставить в церкви свечку Толя. Офицер, оперировавший раненых солдат на войне и видевший еще и не такое, сумел в дичайших условиях Севера оказать парню необходимую помощь, собрать его кишки, заткнуть дыры в порванных сосудах и доставить его еще живым в больницу. Этот, так и оставшийся неизвестным человек, заставил врачей ЦРБ вызвать вертолет и доставить Анатолия в областной центр, где уже более искусные врачи как-то реанимировали его полутруп и сумели отсечь неотсекаемое и извлечь неизвлекаемое, оставив только то, что можно было оставить.

Толя жил, не смотря ни на что, потому что на его счастье попались ему в беде хорошие люди.

Когда он пришел в себя на четвертый день, уставший и оглохший от ужасной боли, раздиравшей его изнутри, он не захотел жить. Боль была такой сильной, что ему казалось, что его волосы встают дыбом, что из него вынули душу. Он почувствовал, что стал другим, что-то ушло безвозвратно и никогда уже не могло вернуться. Страх боли был еще сильнее ее, он пытался бороться с нею, но не мог, сил не было, и слабые руки и ноги не повиновались ему. Анатолий не мог двигаться, не мог говорить, не мог даже пошевеливать пальцем – боль возвращалась и терзала его с каждым движением. Даже открыть глаза было для него мукой.

Глядя сквозь щелочки прикрытых век на хорошенькую медсестру, хлопчущую около него, он беззвучно просил ее об одном: чтобы она, поправляя простыни, не коснулась его и не пошевелила бы. Не двигаться – терпеть было основой его желаний в этот момент. Но

девушка была так искусна и профессиональна, что ни разу не причинила Толику боли. Мало того, девушка стала его спасительницей. Она, как-то быстро и бесшумно двигаясь вокруг него, нежно уколола парня в левую руку и неожиданное блаженство, почти счастье нахлынуло на Морозова. Боль ушла, спряталась, стало так хорошо и почему-то захотелось петь. Он испугался своего нового состояния, открыл шире глаза и даже пошевелил рукой – боли не было.

– Кто вы? – спросил он девушку.

– Катя, – просто ответила она. – Лежите, Анатолий, вы в больнице, с вами все будет хорошо. Надо только потерпеть немного.

– Катя, Катя, – проговорил он сухими губами, словно пробуя это имя на вкус. Имя было приятным и добрым. Человек она, видно, хороший, раз так быстро справилась с его невыносимой болью. – Что со мной, Катя?

– Вы попали в аварию, вам сделали операцию, но теперь все будет хорошо, и вы поправитесь. Я сделала вам укол, его действие два часа – потом снова надо будет терпеть.

Даже его воспаленный мозг понимал, что без наркотика ему не выдержать, а что колют ему обезболивающий наркотик, было понятно и без слов. Девушка искоса смотрела на Толю и страдала в душе, глаза ее наполнялись слезами, и она отворачивалась, передвигая какие-то штативы и склянки.

– Катя, скажи честно, плохо, да? – он вопросительно и жалобно посмотрел в ее глаза. Девушка отвела их и вышла из палаты. «Да, плохи мои дела» – подумал он и вперил взгляд в белый стерильный потолок. Оставалось только ждать, ждать прихода невыносимой боли, терпеть ее и плакать, сцепив зубы от бессилия и страха, от глупости, по прихоти которой исковеркана навеки жизнь, от ощущения неминуемого скорого конца. Это ощущение и было тем новым, что поселилось в его душе после прихода в себя. Морозов вдруг ощутил себя смертным, слабым перед лицом Господа Бога, он понял, что жизнь не бесконечна и его уверенность в светлом будущем была жестоко поколеблена. Время отсчитывало минуты и сливалось в часы, после которых вновь наступит боль, и ее красная пелена будет застилать ему глаза, забивать уши и нос и стальным сверлом буравить его израненное человеческое тело.

В ожидании боли и в самой боли пролетел месяц. Толя словно скелет грохотал своими костями, переворачиваясь в койке. Сегодня ночью боль снова пришла, вгрызаясь в живот, обросший струпами плохо заживающих ран. Живот представлял собой корявую синюшную в разводах йода поверхность, с выводами для естественных отправлений. В незаживающих ранах мышц живота появлялись свищи, сквозь которые вечно текла сукровица и вонючая жидкость. В свищах были и кишки, они никак не хотели срастаться как надо, сопротивлялись, так как были пришиты не к тем местам, где хотели. Разрывы в сочленениях могли привести к перитониту, и доктора вынуждены были постоянно дренировать брюшную полость. Дренажи приносили такие страдания, по сравнению с которыми обычная боль была почти незаметна.

Толя поймал себя на мысли, что стал трусом. Выносить это не было более сил, он хотел покончить с собой любым способом, но верная Катя всегда была на страже. Она убирала все, что могло быть им использовано, она на свой страх и риск, обманув процедурных сестер, приносила в палату и делала Толику обезболивающие уколы, после которых он мог разговаривать и быть хоть чуточку спокойным.

Катя видела, до какой крайности может довести человека боль, она страдала вместе с пациентом. Она влюбилась в него. Стойкий оловянный солдатик мучился до слез, до крика, до зубовного скрежета. Он бился головой о подушку и ничего не мог с собой поделать. Ее сердце не выдерживало этого испытания, страшного испытания для ее милого мальчика – жить, жить вот так, прикованным к больничной койке, обезумевшим об страшной боли, отправляющим естественные надобности себе на грудь через катетеры.

Это унижение, унижение сильного здорового мужчины было сродни страданиям Христа, который, принимая унижения жизни, тем не менее, вырастал выше и выше, и дух его, преодолевая все невзгоды, становился только крепче. Она верила, что Анатолий тоже укрепит свой дух в страданиях, и молила Бога за это, но он был просто человек и дух его был человеческим, а не божеским, и предел этому духу уже наступал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.